

Николай Алексеевич Некрасов, Авдотья
Яковлевна Панаева

Три страны света



Николай Некрасов

Три страны света

«Public Domain»

1849

Некрасов Н. А.

Три страны света / Н. А. Некрасов — «Public Domain», 1849

«В глухом и далеком углу обширной русской земли, в небольшом уездном городе, за несколько десятков лет до начала нашей истории, на углу улицы, кончавшейся полем, стоял небольшой скривившийся деревянный дом. Он принадлежал городской повивальной бабке Авдотье Петровне Р***. Авдотья Петровна была женщина редкая; по должности своей она знала семейные тайны многих лиц города: кажется, довольно, чтобы и весь город знал их? Но Авдотья Петровна упорно молчала. Многие дамы оставили ее именно за это достоинство, которое считали важным недостатком...»

© Некрасов Н. А., 1849

© Public Domain, 1849

Содержание

Пролог	5
Часть первая	13
Глава I	13
Глава II	18
Глава III	24
Глава IV	32
Глава V	39
Глава VI	52
Глава VII	59
Часть вторая	67
Глава I	67
Глава II	74
Глава III	84
Глава IV	89
Глава V	99
Глава VI	105
Глава VII	111
Глава VIII	121
Конец ознакомительного фрагмента.	130

Николай Некрасов, Авдотья Панаева

Три страны света

Пролог

В глухом и далеком углу обширной русской земли, в небольшом уездном городе, за несколько десятков лет до начала нашей истории, на углу улицы, кончавшейся полем, стоял небольшой скривившийся деревянный дом. Он принадлежал городской повивальной бабке Авдотье Петровне Р***. Авдотья Петровна была женщина редкая; по должности своей она знала семейные тайны многих лиц города: кажется, довольно, чтобы и весь город знал их? Но Авдотья Петровна упорно молчала. Многие дамы оставили ее именно за это достоинство, которое считали важным недостатком.

– Какая дура эта Авдотья Петровна! лежишь, а она хоть бы слово интересное сказала... даже знаешь какую-нибудь историю, а так только нарочно спросишь: «правда ли, что жена Днищева свела шашни с Долбишиным?» запирается! я, говорит, не знаю!

Так жаловалась слабая супруга своему мужу после благополучного разрешения.

– Что же делать? – спрашивал супруг.

– Что делать? вот я ей откажу; она у меня последнего принимает!.. Возьму Веру Антоновну.

– Далеко посылать, да и обидишь Авдотью Петровну.

– Вот хорошо! – вскричала больная: – да она может уморить с тоски!

– Ну, хорошо, возьми Веру Антоновну, – говорил испуганный супруг.

Вера Антоновна была бабушкой другого, ближайшего уездного города. Она пользовалась обширной известностью, которой много способствовал лекарь того города, первый друг и приятель Веры Антоновны.

Вера Антоновна могла даже мертвого поднять своей болтовней, не только занять больную. Она знала все и всех. Обширное знакомство доставляло ей неисчерпаемый источник для толков и пересудов. Никто при ней не смел заикнуться о годах кого-нибудь.

– Как это можно, помилуйте! Анне Сидоровне теперь под сорок: она только на лицо моложава. Я у ней принимала первого; а Ваничка ровесник Соне Подгорной... Вот, я вам скажу, будет богатая невеста и старше только двумя месяцами Оли исправниковой... Как теперь помню, такая была жара; я ехала от Анны Сидоровны к исправнику... Какая она у него стала: так и тает, так и тает, точно свеча, чуть жива. Вот уж осьмого недавно бог дал: трудно, очень трудно родит. Сам-то исправник, знаете, не любит дома сидеть: разные шашни у него...

– Неужели, Вера Антоновна, с казначейшей? – спрашивали таинственно любознательные дамы.

– Какое с казначейшей? старо с казначейшей!

– С кем же? с кем же?

Глаза вопросительниц сверкали нетерпеливым блеском.

– С Марьей Ивановной! – произносила Вера Антоновна и протяжно и торжественно глядела на всех.

– Ах!.. неужели?.. Боже ты мой!..

И восклицаниям и расспросам не было конца. Вера Антоновна как река лилась, после длинного монолога требовала пить и выпивала залпом графин квасу.

Фигура ее была так обширна, что нужно было дарить ей на два платья, чтоб вышло одно. Прихотям Веры Антоновны не было конца. В доме, где случалось ей принимать, она вмешивалась решительно во все: «Зачем люди долго спят? зачем повар дурной квас сделал? зачем мало

работают в девичьей? У исправника-то люди с петухами встают, а у вас, Агафья Артемьевна, вместе с барами: право, таких людей даже и у городничихи нет, а что она уж за барыня!..»

Вера Антоновна заботилась очень о своем здоровье; несмотря на страшную полноту, она считала себя худенькою, и если ей говорили: «а вы, кажется, поправились, Вера Антоновна», – она крестилась и плевала, боясь глазу. – Что это вы, как можно! – возражала она, – да мне платья стали широки!

Аппетит у ней превышал всякое вероятие. Ела она почти каждую минуту и все находила, что отошала, – после ужина, на сон грядущий, съедала ежедневно десяток яиц, сваренных вкрутую. Она их очень любила, но спала от них беспокойно и со страху поднимала на ноги среди ночи весь дом. Ей все чудились воры, готовые ограбить ее; а надобно знать, что она все свои деньги, золотые вещи и ломбардные билеты возила с собою в тайном подвязном кармане, которого не снимала даже и на ночь. К довершению всего Вера Антоновна не разлучалась ни на минуту с двумя собачонками, гадкими и паршивыми, которых звала очень прозаически: Сашка и Дунька. Имя последней, как поговаривали в городе, было дано в пику Авдотье Петровне.

Мало-помалу вся аристократия уездного города оставила Авдотью Петровну; она призывалась только в неожиданных и роковых случаях. И тогда разносился слух по городу: «Слышали вы, какое несчастье случилось? за Авдотьей Петровной должны были послать! Но, слава богу, Вера Антоновна на другой же день приехала!»

Если Авдотье Петровне и случалось до конца пробывать у какой-нибудь важной дамы, то крестин не справляли и давали нелюбимой бабушке самую ничтожную плату.

Вот почему дом Авдотьи Петровны видимо разрушался: не было средств поправить его. Внутренность дома соответствовала наружности: низенькие, небольшие комнаты, с покосившимися потолками и полами, бедно меблированные, производили болезненное и грустное впечатление.

Ставни старого домика были закрыты. В комнате, мрачно освещенной, лежала женщина, довольно красивая, но страшно худая и бледная. Авдотья Петровна, в углу, мыла новорожденного, поминутно оглядываясь на больную. Проворно вымыв ребенка и запеленав его, она подошла к кровати и тихо сказала:

– Поздравляю вас с сыном.

Мать открыла глаза и с испугом оглядела комнату. Увидав Авдотью Петровну с ребенком, она болезненно вскрикнула, дрожащими руками схватила дитя и пристально взглянула ему в личико, потом распеленала его и радостно прошептала:

– Боже, ты услышал мою молитву!

И она начала осыпать своего сына поцелуями.

– Тихе, осторожнее! вам вредно волнение, – говорила Авдотья Петровна, любясь радостью матери.

– О, дайте мне на него насмотреться!.. Он не похож на своего отца!..

– И мать снова целовала сына.

– Успокойтесь! вы еще очень слабы; будет время налюбоваться! – говорила растроганная Авдотья Петровна.

Но мать сильно вздрогнула и дико закричала, прижимая сына к своей груди:

– Нет! он его не увидит! Пусть он лучше никогда не знает своего отца и своей матери!

– Что вы? как можно!

И Авдотья Петровна невольно схватила ребенка из слабых рук матери.

– Куда вы хотите его нести! – воскликнула мать. – О, ради бога, спрячьте его!

Она вскочила с постели, упала на колени перед Авдотьей Петровной и раздирающим голосом повторила:

– Спрячьте его! спасите его!.. он злодей, он убьет ребенка. Я готова умереть, только бы он не знал и не видал его. Спасите, спасите!..

Несчастливая женщина с страшными криками упала на пол, и стоны наполнили комнату. Потом она вдруг смолкла и, лежа на полу с закрытыми глазами, тяжело дышала и вздрагивала. Авдотья Петровна плакала. Поцеловав ребенка, она бережно положила его на кровать, стала на колени возле матери и начала успокаивать ее:

– Хорошо, я все сделаю. Я знаю его: он способен на все. Но не убивайте себя, опомнитесь!

Тихо приподнялась мать, схватила руку Авдотьи Петровны и с жаром поцеловала ее.

– Ах, что вы? как можно!

И Авдотья Петровна покраснела; слезы потекли у ней по лицу. Мать сказала:

– Вы добры! вы знаете мое положение... Сжальтесь над бедным ребенком, сжальтесь надо мной... Видит бог я чиста: но его подозрения...

– Что же мне делать? чего хотите вы? – спросила Авдотья Петровна.

– Чего я хочу? – дико спросила мать. – Чтобы он не знал своего сына, которого он будет так же мучить, как мучил его мать. Чудовище злое и подозрительное, он... О, вы его не знаете!

– Говорят, он просто злодей, – невольно сказала Авдотья Петровна.

– А, вы теперь сами говорите, что он злодей? – воскликнула радостно мать. – Как же можно ему показать сына, когда еще до рождения несчастному ребенку готовились угрозы и страдания? Нет, нет! Вы поможете мне скрыть моего сына! вы сжалитесь над умирающей женщиной, которая вас будет благословлять как спасительницу ее ребенка!

– Если бы можно было, я рада бы помочь вам.

– О, время и возможность есть, только захотите. Я скрывала время своей беременности, и вы можете сказать, что я выкинула.

– Что же делать с ребенком? куда его девать?

– Да, вы правы: он всюду отыщет его, он украдет его у меня и скажет, что я виновата!

– У нас здесь в городе почти никого нет, кому бы подкинуть: житье ему будет плохое.

С минуту длилось молчание.

– Боже! благодарю тебя!.. – воскликнула вдруг больная и, скрестив руки, стала на колени и усердно молилась.

Окончив молитву, она твердым голосом сказала:

– Дайте скорее бумагу и перо.

Все было подано. Дрожа всем телом, Авдотья Петровна подвела больную к столу. Окончив письмо, больная подала его Авдотье Петровне.

– Прочтите: так ли я написала? голова моя горит; я не могу ничего обдумать, я худо вижу...

– Хорошо, – сказала Авдотья Петровна, – да к кому же?

– Вот и адрес к будущему отцу моего сына, – перебила больная.

Авдотья Петровна, прочитав адрес, радостно вскрикнула:

– О, ваш ребенок будет счастлив! Вы поручаете его судьбу самому доброму, благородному – и богатому человеку, какого только я знаю...

– Не правда ли? я могу умереть спокойно... Да, я умру, – тихо прибавила больная, приложив руку к своей голове: – посмотрите, как она горит: я вся горю... мне душно!

Больная начала метаться.

– Лягте, ради бога, лягте!

– Зачем мне беречь себя? чтоб снова терпеть горе и унижение? Зачем я буду жить, когда я бросаю своего ребенка? Нет, я не брошу его, не отдам... я не могу его отдать... Пусть он страдает вместе с своей матерью и пусть в страданиях узнает своего отца... Господи! за что я так несчастна?

И больная зарыдала.

– Полноте, не огорчайтесь! Вы можете расхвораться и наделаете мне хлопот, – сказала Авдотья Петровна, стараясь скрыть свои слезы,

– Простите, я виновата; но войдите в мое положение: я мать; понимаете ли вы, что значит быть матерью?

– Даже очень хорошо понимаю, – с живостью отвечала Авдотья Петровна, – и знаю, что ничего не может быть ужаснее разлуки с своим ребенком.

– А! вы тоже испытали такое несчастье? – спросила больная, и в голосе ее звучало удовольствие, будто радовалась она, что есть и еще женщины, разлученные с детьми.

– Кто же может сказать, что он не страдал? – отвечала Авдотья Петровна, покачав головой.

– А он? он никогда не страдал! иначе мог ли бы он так хладнокровно мучить других? Голос страдания достиг бы его ушей. Но он не знает, он не понимает его!

У Авдотьи Петровны не достало философии, чтоб продолжать такой разговор, и она спросила:

– А вы думаете теперь вашего сына отвезти?

Больная вскочила и кинулась к ребенку. Взяв его на руки, она дико закричала:

– Так рано? нет, я не отдам его, не отдам!

И она с жаром начала целовать ребенка.

– Хуже будет, если услышат плач; он может приехать за вами, ему донесут. Дайте мне его.

– Боже, боже! – простионала мать и, прильнув к сыну горячим лицом, обливала его слезами.

Авдотья Петровна взяла небольшую корзину; положив туда подушку и толстый шерстяной платок, она сделала люльку и робко сказала:

– Пора: благословите своего сына!

Мать крепко прижала ребенка к груди и отвечала жалобным голосом:

– Подождите! дайте мне на него посмотреть, дайте нацеловаться! Кто тебе заменит мать? – продолжала она, обращаясь к ребенку. – О, ты простишь ее? она несчастна, она умрет?

И мать положила своего сына на кровать и тихо опустилась перед ним на колени, будто прося у него прощения.

– Может быть, ты будешь счастливее в чужих руках, – говорила она, – я чувствую, что скоро умру, так не знай лучше никогда ни отца, ни матери! Пусть вечно охраняет тебя мое благословение (она перекрестила ребенка). Пускай достанутся тебе все радости, которых не знала твоя мать!

Голос ее все более слабел; утомленная ее голова упала на кровать. Авдотья Петровна тихо рыдала в углу. Услышав ее рыдание, больная приподняла свою отяжелевшую голову, бледными губами прильнула к теплому личику своего сына и потрясающим голосом сказала:

– Возьмите! возьмите его скорее, или я его не отдам!

И снова голова ее упала на кровать.

Авдотья Петровна положила ребенка в корзину и, перекрестясь, пошла к двери.

Больная приподнялась, она дико следила за движениями Авдотьи Петровны, пока та укладывала ребенка, и когда она пошла к двери, бедная мать стремительно кинулась к ней.

– А, ты украла моего ребенка?.. Помогите, помогите!

И несчастная с безумными криками вырывала корзину.

– Что вы? Бог с вами! не кричите: на улице услышат! – дрожащим голосом говорила Авдотья Петровна.

Но больная ничего не хотела слышать: глаза ее блестели страшным огнем. Она дико смотрела на Авдотью Петровну и повторяла отчаянно:

– Отдайте моего ребенка, отдайте!

– Возьмите! вы, кажется, забыли, каков его отец? – с упреком сказала Авдотья Петровна.

Мать вскрикнула. Отскочив от корзины, которую ей предлагала Авдотья Петровна, она прошептала испуганным голосом:

– Спрячьте, спрячьте его. Слышите, он идет, он его возьмет! Я погибла!.. О спасите же, спрячьте меня!

И несчастная бегала по комнате и пряталась.

Авдотья Петровна скользнула в дверь и заперла ее на замок.

Мать с диким криком кинулась к двери; она ломала ее и кричала:

– Отворите! моего ребенка украли! спасите!

Стук удалявшихся дрожek остановил вопли почти обезумевшей женщины; она вся затряслась и, когда стук дрожek замер, отчаянно вскрикнула: – Уехал! – и упала без чувств у дверей...

В одном большом селе, широко раскинувшись на невысоком холме, стоял огромный барский дом с дремучим садом. Длинные службы в несколько рядов, как крепостные стены, тянулись за домом. В августе месяце, вечером, часов в девять, луна бросала печальный свет на темный сад и черную массу дома, на стене которого фантастически рисовались громадные деревья. Обильная роса покрывала влажную траву; блеск луны, отражаясь всюду, играл на листьях деревьев, которые таинственно перешептывались в пустынном саду, и менял рисунки на стене, как кабалистические знаки в каком-нибудь волшебном замке. Медленно, лениво катилась луна, окруженная легким паром, по прозрачному далекому небу.

Прямо светила она в мрачные, запотевшие окна, осеребряя их и еще резче выказывая массивную и старинную архитектуру дома. Отдаленный лай собак изредка нарушал тишину; эхо звонко раздавалось и медленно замирало в чистом воздухе.

За кустами сирени и жимолости едва виднелся слабый свет, выходивший из окна небольшой комнаты, убранной очень просто; по мебелировке нельзя было определить ее назначения.

На широком диване лежал мужчина лет тридцати пяти, крепко сложенный, с благородным и привлекательным лицом; но в его взгляде, во всех его движениях выражалась бесконечная апатия. В руках держал, он книгу, которая, казалось, тяготила его. Выкуренная трубка с огромным янтарем была у него в зубах. На столе, возле дивана, лежало несколько книг и стоял низенький подсвечник с зеленым колпаком, бросавший яркий свет на нежные руки и чистое белье полусонного мужчины, но оставлявший в тени его лицо. На полу возле дивана спала большая лягавая собака. Вероятно, тревожили ее неприятные сны: она по временам визжала и вздрагивала; тогда мужчина, лежавший на диване, кричал: – Фингал! – Собака приподнимала голову и сонно-красными глазами смотрела на своего господина, готовая приветствовать его ласковым виляньем хвоста. Но, не получая ни ласки, ни приказания, не удостоенная даже его взгляда, она опускала голову и хвост, тяжело вздыхала и снова своим храпом нарушала тишину.

Несколько ружей торчало в разных углах комнаты, посреди которой стоял токарный станок, окруженный опилками, свидетельствующими о недавней работе. Микроскоп, разобранный, лежал на столе у окна. Все доказывало, что обладатель этой комнаты старался развлекать себя. Но как бы утомясь или соблазненный сладким сном своего Фингала, он уже не перевертывал листов, рука крепко еще держала книгу, но скатилась, – трубка оставалась около губ. Ровное и мерное дыхание вылетало из его широкой груди; тихо колебалась на груди тонкая, слегка накрахмаленная рубашка.

Так прошло несколько минут. Дверь тихонько раскрылась, и мальчик лет четырнадцати проворно, но тихо вошел в комнату, с серебряным подносом, на котором стоял стакан с чаем.

Подойдя к дивану, он в недоумении остановился, глядя на спящего барина. Собака при первом шорохе открыла глаза, но тотчас снова спокойно закрыла их. Убедясь, что барин не может заметить его присутствия, мальчик сказал: «Чай готов-с!» Мерное и ровное дыхание не прерывалось. С отчаянием глядел мальчик то на спящего барина, то на стакан. Мимо его носа вдруг порхнула бабочка и стала кружиться около Огня. Мальчик лукаво следил за ее полетом и радостно улыбнулся, когда она, коснувшись свечи, вдруг села на стол, тоскливо забила

крыльшками, прильнула к столу головкой и в изнеможении упала, – потом, будто очнувшись, отчаянно забилась, осыпая стол белой пылью.

Мальчик с наслаждением упивался мучениями бабочки и каждый раз, как она переставала биться, трогал ее пальцем, и бабочка снова кружилась и вертелась страшно. Тихо скатившаяся из ослабевшей руки барина книга прекратила мучения бабочки и потеху мальчика; он повторил: «Чай готов-с»; ответа не было. Мальчик вышел и через несколько минут возвратился с новым стаканом чаю, из которого валил пар. Та же история повторилась; мальчик уже начал приходить в отчаяние, когда вдруг скрипнула дверь: высунулось женское лицо в чепчике с длинной фалбалой и жалобно прошептало: «Петрушка!..» Мальчик повернулся к двери и отрицательно мотал головой. Выставилась рука и манила его к себе.

– Что вам? – спросил он.

– Поди сюда! скорее! – задыхаясь, шептала женщина.

Мальчик показал головой на барина и на поднос и прибавил:

– Видите, не могу!

– Петрушка! что ж ты? я тебе говорю, скорее! – сердито воскликнула женщина, забыв всякую осторожность, и вошла в комнату.

Ей было лет под шестьдесят, но она была еще бодра; приятное лицо ее выражало сильную тревогу. Огромная увязка ключей, висевшая на чистом, белом переднике, обозначала ее должность.

Мальчик, недовольный появлением ключницы, сказал:

– Что это вы? не видите, барин спит!

– Вижу, дурак! ты что не идешь, когда зовут? – шепотом возразила ключница.

– Как же я брошу чай?

– Когда велют, мужик ты, так иди!

Она с досадой выхватила у него поднос. Ложечка со звоном упала на пол. Собака заворчала и открыла глаза – в одно время с баринем.

Барин потянулся, осмотрел комнату и остановил глаза на ключнице, которая, остолбенев от испугу, стояла неподвижно, с искаженным лицом.

Мальчик улыбался так же радостно, как несколько минут назад, когда бабочка обожгла крылья.

– Что вам нужно? – спросил барин с изумлением, которое ясно доказывало редкое появление ключницы в его комнате.

В ответ, задыхаясь от волнения, ключница произнесла: – Ах, сударь! – и лицо ее приняло такое отчаянное выражение, что встревоженный барин встал и быстро спросил:

– Что такое? не пожар ли? не ушибся ли кто?

– Ах, какое несчастье!

– Да что такое случилось? – с сердцем спросил барин.

– Извольте встать и выйти в сени. Ах, боже ты мой, боже ты мой!

– Как вы надоели с вашими восклицаниями!

И барин скорыми шагами пошел к двери; собака последовала за ним, потягиваясь и зевая; мальчик и ключница заключили шествие.

– Посвети! сюда пожалуйста! – говорила болезненным голосом ключница.

Мальчик взял свечу и пошел вперед. В темных сенях, в углу, стояла хорошо закутанная корзина, и тихий плач раздавался из нее.

– Что это? – спросил барин.

– Ах, кажись, ребенок! Боже, какой грех! какой грех!

– Как попал он сюда?

– Вот извольте видеть: я разливаю чай и слышу какой-то странный писк; думаю: верно, кошка забралась и мяукает. Отпустив чаю вашей милости, я думаю, дай пойду выгоню – кошку;

вышла в сени да и говорю: брысь, проклятая! не идет; я отворила дверь – глядь: корзина; думаю: на что тут корзину поставили?

– Сейчас, что ли, вы слышали плач?

– Только вот чай вашей милости отпустила, да и думаю: выгоню проклятую кошку, а глядь – корзина! я и думаю: верно, с угольями кто занес!

– А не видели ли вы в окно кого-нибудь?.. Ведь вы сидели у окна? – спросил барин.

– Когда я шла сюда, в сенях никого не было. А бог их знает, может и видела, как прошел кто, да думала свои...

Между тем любопытная собака обнюхивала корзину.

– Тубо¹ Фингал! – закричал барин на собаку и, обратясь к ключнице, приказал внести корзину в комнату.

Незаметно и тихо в двери сеней и в окна глядела сотня глаз; беготня была страшная на дворе. Лакеи один за другим появлялись в комнату. Корзину развязали: в ней лежал только что родившийся ребенок, весь красный и сморщенный... Он вертел головкой и искал губами грудь, жалобно пищал.

– Ах, владыко! какой здоровый ребенок! – в восторге вскрикнула ключница, вынув его из корзины.

При этом движении письмо упало на пол.

– Что это? письмо?

И барин указал головою на бумагу.

Множество рук протянулось; одна из них, огромного размера, подняла письмо и подала его барину; барин прочитал вслух:

«Всем, что для вас есть святого, заклинаю вас, призрите сироту. Он законнорожденный; но страшные обстоятельства заставляют мать просить вас заменить этому несчастному ребенку родителей. Я уверена, что он будет счастлив, если вы не отвергнете его. Об этом умоляет вас умирающая мать...»

179, августа 17».*

Ключница внимательно слушала чтение, укачивая ребенка; она положила ему в ротик свой палец, и ребенок с жадностью сосал его. Окончив чтение, барин печально посмотрел на ребенка и сказал:

– Бедный, – что я буду с тобой делать?

– Призрите сироту! вам бог пошлет на его долю! – прослезясь, сказала ключница.

– Хорошо, хорошо... разумеется, не кину его.

– Посмотрите, какой славный мальчик! Есть хочет! – радостно сказала ключница, любясь, как ребенок тормошил ее палец.

– Взять кормилицу, – сказал барин.

– А на рожке?.. право, я его славно выкормлю на рожке.

– Нет, что за вздор! Нет ли кого с грудным ребенком во дворе? пусть кормит двух.

– Матрену... у ней муж на днях умер, одна, как перст, с ребенком, плачет, сердечная!

Вот ее и возьмем.

– Ну, пусть кормит... А если нет своих, так из чужой деревни нанять.

– Господи! как можно! – с испугом возразила ключница. – Да у нас, право, так много родят в дворне, что...

– Хорошо, – перебил ее барин, – распорядитесь поскорее; отдаю ребенка на ваши руки: смотрите за ним хорошенько, как за моим сыном.

¹ Спокойно.

Дворовые люди переглянулись; ключница обиделась.

– Как можно! – возразила она. – Как за вашим сыном?.. – Она остановилась и потом робко договорила: – Может статься, и неблагородный.

– Все равно, я вам приказываю! – строго сказал барин и пошел. – Пришлите мне чаю, только горячего, – прибавил он, приостановясь в дверях...

Вопросы, восклицания, оханья, аханья наполнили комнату. Ключница каждому порознь рассказывала с мельчайшими подробностями, как и что она думала.

Барин тоже с своей стороны на минуту задумался; он несколько раз читал письмо, и в лице его мелькали и сменялись мысли... Он напился чаю, выкурил трубку, походил, подумал, снова лег и стал читать. Собака уже спала по-прежнему, и скоро полная тишина воцарилась в комнате. Барин тоже задремал. Только огромная муха, неистово жужжа и стуча в стекло, нарушала тишину барского дома.

Часть первая

Глава I

Шутка

183* года, в августе, утром, часу в десятом, Каютин проснулся и почувствовал страшный холод. Члены его тряслись как в лихорадке, а зубы стучали. Он попробовал плотнее закутаться в халат, заменявший ему одеяло, закрыл даже голову: напрасно! Раскрыв голову, он стал думать о причине такого неестественного холода, продолжая дрожать всем телом. Вместе с ним дрожит, казалось ему, и вся комната; маленький столик перед кроватью танцует, а графин и стакан, поставленные на столике рядом, издают жалобные непрерывные звуки; ширмы, оклеенные бумагой, выгибаются и рокочут, беспрестанно угрожая обрушиться на продрогшего Каютина. И вместе с тем вокруг него такой шум и грохот, как будто экипажи едут не по улице, а в самой его комнате, тотчас за ширмами. Каютин сначала подумал, что ему так кажется со сна; но синие, окоченелые пальцы, которые он на минуту поднес к своим глазам и потом тотчас спрятал, будто обожженные, громко говорили противное.

«Ну, так у меня просто нервное расстройство», – подумал Каютин.

Но звонкий и явственный говор, раздавшийся в ту минуту за ширмами, прекратил его размышления; он весь обратился в слух.

– А ты купи веревочные да смажь ворванью – ей-ей сойдут за ременные! – говорил один голос.

– Оно так, голова, да, вишь, ременные-то нарядней будут, – кричал другой.

«Что за путаница?» – подумал Каютин.

– Рыба жива! – гаркнул вдруг резкий, отрывистый бас над самым его ухом, так громко и неожиданно, что Каютин вскочил на своей кровати и с минуту сидел, как ошеломленный.

– Ремни... веревки... живая рыба в моей комнате! – закричал он неистовым голосом.

– Стой, стой, стой! Где у те глаза-то? В кабаке пропил? Вишь, толстый пес, – сидишь, не видишь, на человека наехал...

– А ты не иди среди улицы... знай свой тротуар, французская сосулька!..

Такие речи продолжали оскорблять благородный слух Каютина, пока он наскоро одевался.

Жалкое зрелище представилось его глазам, когда он, дрожа и кутаясь как можно плотнее в халат, вышел из-за ширмы в свою комнату.

Надо признаться, что и вообще комната его не представляла великолепного зрелища... Стены ее, впрочем, когда-то были окрашены зеленой краской, а потолок расписан (такое уж убеждение господствует у наших домохозяев, что как бы ни была плоха и дешева квартира, но потолок непременно должен быть расписан); пол тоже когда-то был выкрашен. Письменный стол, несколько плетеных стульев, голландский диван, с которого, неизвестно почему, тотчас вскакивали с неприятным восклицанием все пробовавшие на него присесть, наконец известные ширмы, за которыми помещалась кровать хозяина, – вот вся мебель комнаты.

– Разбойник! – воскликнул молодой человек, окинув глазами свою комнату.

Он остановился среди пола, с поникшей головой, в глубоком раздумьи.

Каютин был очень хорош собой; но, взглянув на него в ту минуту, трудно было не расхохотаться: так плачевна была его фигура!

– А я думал, – продолжал Каютин после долгого молчания, – что он шутит! Вот тебе и шутки!

И он подошел к единственному окну своей квартиры. Осенний утренний ветер, покачивая старую запыленную герань и зашелестев листьями золотого дерева, пахнул ему в грудь таким резким, свежим холодом, что не было уже никакого сомнения в горькой действительности: рама выставлена!..

Первым делом Каютина, когда он несколько успокоился, было собрать и спрятать свои бумаги, сброшенные ветром на пол с письменного стола; потом он хотел одеться и идти к хозяину браниться. Но, к удивлению и ужасу своему, он не нашел своего платья, которое, возвратясь вчера очень поздно домой, наскоро сбросил и оставил на своем голландском диване, спеша добраться поскорей до кровати. Выбрав опять хозяина, он отворил дверь в сени и стал кричать, подняв голову вверх, по направлению небольшой деревянной лестницы: «Хозяин! хозяин!» Но никто не являлся на его крики. Он стал кричать громче – напрасно! Тогда, потеряв терпение, он воротился в свою комнату, взял длинный чубук, стал на стул и начал стучать изо всей силы в потолок, сопровождая каждый удар ужасными криками: «Хозяин! хозяин!»

Но хозяин не являлся...

«Спит старый хрыч!» – подумал Каютин и усилил свои удары и крики – и то напрасно!

«Нечего делать, надо идти к нему... а тут, пожалуй, еще что-нибудь украдут... да, впрочем, что украсть-то?»

Он невольно улыбнулся и весело стал подниматься по деревянной лестнице... Великим, завидным благом в жизни обладал Каютин: живым, беспечным, великодушным характером, который не давал ему останавливаться долго ни на какой неприятности. Озадаченный в первую минуту, теперь он уже находил свое приключение не более как забавным, и сам первый готов был над ним смеяться.

Когда широкий путь открыт перед нами, когда много у человека впереди, легко переносятся мелкие несчастья и неудачи – в надежде будущих благ. Так точно охотно сознается человек в мелочных недостатках и ошибках своих, пока еще надеется в будущем проявить громадную силу. Но нелегко переносит и мелочные неудачи тот, кто уже понял, что вся жизнь его заключена в мелочах; но несносно мелочно и раздражительно самолюбие тех, в ком бесплодные попытки поселили уже недоверие к собственным силам.

Хозяин Каютина, Афанасий Петрович Доможиров, владелец одноэтажного деревянного дома с мезонином, вел жизнь примерную. Он обладал любящим сердцем. Овдовев в средние лета, он сосредоточил значительную часть любви своей на единственном сыне, которому был теперь уже десятый год; но так как любви еще оставалось довольно в его сердце, то он завел себе трех скворцов, которых клетки стояли рядом на огромном венецианском окне его квартиры, выходящем на улицу; небольшой оставшийся затем запас любви отдал дымчатой кошке с четырьмя разношерстными котятками, и ежу, который большую часть дня спал за печкой, свернувшись в клубок, а ночью отбивал практику у кошек, свободно расхаживая по всей квартире с свойственным его ежовой походке громким и мерным постукиванием.

Понятно, что и самая жизнь Афанасия Петровича, естественно, устраивалась приятнейшим образом: большая часть ее проходила в наставнических занятиях. Накушавшись чаю, который имел обыкновение разливать сам, он звал сына. Сын брал любимую книгу Доможирова: «Генеральный смотр совести Наполеона, или беседа Наполеона с совестью, с присовокуплением стихов, под названием: „Посрамленный Завоеватель света, или неистовый Корсиканец в своем унижении“» (1813). Начиналось ученье. Сын читал по складам, с помощью указки, а отец принимал глубокомысленную физиономию, которую сохранял во все продолжение класса, хотя и чувствовал оттого ломоту в бровях. Иногда на стол вскакивал резвый котенок, садился на задние лапы и с изумлением следил за движением указки, дотрагиваясь до нее лапкой. Тогда и отец и сын забывали свое дело и с умилением любовались проказами грациозного котенка. Как ни важно казалось Доможирову воспитание сына, нежное сердце его брало свое; он заигрывал с котенком, кидал ему скомканную бумажку; котенок прыгал, Доможиров

тоже начинал прыгать, присев на корточки; сын следовал его примеру; скоро к общей беготне присоединялись и другие котята: все прыгало, не исключая и встревоженных скворцов, которые поднимали страшную возню в своих клетках. Только еж хранил обычное спокойствие и безучастно смотрел из своей лазейки, строго поводя своей остренькой мордой.

«Посрамленного Завоевателя» забывали.

Погладив любимых котят, пощипав неловких и непослушных, Доможиров настраивал свою физиономию на веселый лад и начинал посвистывать и попевать. Скворцы любовно вторили ему. Сына Афанасий Петрович учил только тому, чему сам учился: истории, катехизису и русской грамматике; но, видно, он почитал свои знания в иностранных языках достаточными для скворцов, потому что, окончив насвистыванье и напеванье, обыкновенно начинал, нагнувшись к клеткам, громко и явственно произносить все знакомые ему французские и немецкие слова... И так продолжал он до той поры, пока какой-нибудь скворушка не издавал звуков, похожих на «ко-ман-ву-пор-те-ву»² или «бон-жур»...³ Тогда, в гордом сознании, что день не потерян, Афанасий Петрович клал на окно красную сафьянную подушку и из учителя обращался в ученика, обогащая свой любознательный ум наблюдениями. Случалось (и очень часто), хозяйка противоположного дома, толстая, краснощекая женщина, тоже сидела у окна, и тогда у них завязывался через улицу разговор.

– Как говядина вздорожала, Афанасий Петрович, просто подступу нет!

– Вот, – говорит Афанасий Петрович, не упускавший случая выказать прочность своего благосостояния, – копейку на фунт прибыло, так вы уж и охаете... Побойтесь бога, матушка... Что мы, нищие, что ли?

– Ну и не миллионщики, Афанасий Петрович...

– Кто говорит, Василиса Ивановна! только, по мне, знаете, я даже рад: пусть бедный торговец пооперится.

Афанасий Петрович любил озадачивать неожиданно, почему пускал иногда в ход мнения, которых не разделяв в глубине души.

– Что вы, Афанасий Петрович, побойтесь бога! ведь они разбойники!

– Ну, есть разбойники, есть и не разбойники, – глубокомысленно замечал Доможиров.

Но тут раздавался грохот экипажа, и разговор быстро переменялся.

– Вишь, расфрантилась! – говорила хозяйка, провожая глазами проехавшую даму.

– Ну уж и расфрантилась! – возражал одержимый духом противоречия Доможиров: – просто одета, как быть должно. Посмотрели бы вы, как рядятся... Вот я намерен был в Павловске, у тещи...

И Доможиров принимался описывать павловское гулянье. После обеда Доможиров непременно спал, а по вечерам читал своему ежу правила терпимости и общительности; но суровый еж упорно презирал котят и открыто предпочитал их обществу гордое одиночество.

Но возвратимся к рассказу.

Ни проклятий, ни стуку, ни криков Каютина Доможиров не слышал: он сам кричал в то время не тише его, погруженный в преподавание иностранных языков скворцам своим. Он даже не слышал шагов Каютина, раздавшихся в его комнате, выкрикивая: ко-ман-ву-пор-те-ву!

И Каютин повторил за ним тем же тоном: ко-ман-ву-пор-те-ву! и тронул его за плечо:

– Что вы? – закричал Доможиров, вздрогнув и обернувшись к нему. – Собыете! Птица нежная, чужого голоса не поймет, да и робка...

– Что вы?.. Я ничего... а вы что?.. – начал Каютин полушутливым, полусердитым тоном, в котором в то же время слышалась детская наивность; придававшая особенную прелесть его разговору. – Вы бога не боитесь! что вы со мной сделали?

² Как вы поживаете?

³ Здравствуйтесь.

– Раму выставил.

– А зачем?

– Я вам говорил: отдайте деньги или съезжайте, а не то раму выставлю.

– Съезжайте! вам легко сказать: съезжайте, – сказал Каютин и посмотрел как-то особенно на верхние окна противоположного дома.

– Ну, так деньги отдали бы...

– Деньги! Ну, что вам мои деньги? Пропадете, что ли, без моих сорока рублей? а?

Доможиров молчал.

– Ведь у вас дом свой, незаложенный, и прошлый год только каменный фундамент подвели... Ну, говорите, так или нет?

– Ну, так.

– Ив доме все слава богу, всего вдоволь! и сын в науках успехи оказывает, и скворушки говорить начинают, и еж здоров... здоров?

– Здоров.

– И капиталец в ломбарде лежит порядочный, и долгов нет?.. и кланяться ни за чем к чужим людям не пойдете?..

– Да, – самодовольно отвечал Афанасий Петрович, задетый за чувствительную струну.

– Ну, так что же для вас мои сорок рублей!.. сушая дрянь! Ну, говорите, дрянь?

– Дрянь, – тихо и неохотно отвечал Доможиров.

– Так зачем же вы раму-то выставили?

– Я пошутил, – сказал Афанасий Петрович, которому становилось совестно.

– Пошутил! хороша шутка! А у меня вот, по вашей милости, платье украли, только и осталось...

Не успел он указать ему на свой халат, как господин Доможиров залился громким хохотом. И он хохотал минут пять сряду так добродушно и сладко, что, глядя на него, и Каютину, который в первую минуту почувствовал было досаду, сделалось весело.

– Перестаньте! вы скворцов испугали! Вон они как закричали и запрыгали, точно шальные!

– Так ничего, кроме халата, и не осталось? – спросил Доможиров, сдерживая смех.

– Ничего.

И Доможиров опять покатился. В самом деле, случай был редкий. Давно уже ему не удавалось сыграть такой шутки. Доможиров действительно был добрый человек, но он любил «пошутить», и шутки его не отличались особенной разборчивостью и деликатностью. Раз, когда он еще служил, его пригласили на свадьбу в деревню. Женился его дальний родственник на бедной девушке, гувернантке своего соседа. Когда невесту одевали к венцу, вдруг явился Доможиров с маленькой девочкой, одетой по-крестьянски. Он подвел ее к невесте и сказал: «Вот, рекомендую вам, сударыня, дочь вашего будущего мужа». Невеста упала в обморок, а Доможиров залился добродушнейшим хохотом, подперши бока. В другой раз племянник подбежал к нему и в восторге бросился ему на шею, крича: «Ах, дядюшка! если б вы знали мое счастье! Поздравьте меня! я женюсь, жду только отпуска, – чтоб ехать в Москву. А куда вот ее портрет – она мне прислала... не правда ли, красавица?..» – И он с восторгом поцеловал миниатюрный портрет своей невесты и показал его дяде. «Дай мне его на минуту», – сказал Доможиров. Он вышел с портретом в другую комнату и через минуту возвратил молодому человеку портрет с выколотыми глазами. Случилось также, что к Доможирову зашел его закадычный друг, когда он переливал стоградусный спирт. «Что, ты водку переливаешь?» – «Водку; не хочешь ли?» Закадычный друг ободрал себе глотку, краснел и таращил глаза, страшно кашляя, а Доможиров хохотал, как сумасшедший...

Вот какого рода шутник был Доможиров. Но в настоящем случае он вовсе не ожидал такого эффекта. Возвратясь домой часу в десятом вечера и заметив, что молодого человека

нет еще дома, он подумал, как бы удивился Каютин, если б, пришедши домой, застал у себя раму выставленною. И вот уморительная картина нарисовалась в воображении Доможирова: Каютин просидит всю ночь, не смыкая глаз и сторожа свое добро, порядочно продрогнет, – а поутру придет к нему, покричит, посердится; он предложит ему чайку, молодой человек согреется и сам станет вместе с ним смеяться его остроумной выдумке. А потом раму можно опять вставить. К чести некорыстливого сердца Доможирова нужно прибавить, что сорок рублей вовсе не входили в его соображения. Но план шутки так ему понравился, что он тут же привел в исполнение свою мысль, к чему не представилось ему никакого затруднения, потому что Каютин перестал с некоторого времени брать ключ с собой, а клал его в щель под дверь, о чем знал и Доможиров. А почему Каютин перестал с собой брать ключ, не худо принять к сведению всем бедным молодым людям, живущим без семьи и прислуги.

Раз Каютин провёл вечер чрезвычайно приятно в одном большом доме на Невском проспекте, у знакомого ему важного и богатого человека, – вечер с музыкою, танцами, ужином и шампанским. В отличном расположении духа, но очень усталый, часу в четвертом ночи, возвращался он пешком (денег на извозчика не было) на свою Петербургскую сторону, едва перебивая дремоту. И вот, наконец, добрался он до своей двери и опустил руку в карман за ключом, думая о близкой минуте успокоения. Но, обшарив все карманы, он не нашел ключа! По всей вероятности, ключ выпал из кармана его пальто и очень спокойно лежит теперь в прихожей богатого дома на Невском проспекте... Делать нечего! Каютин воротился, перебудил всех людей в доме: ключ действительно нашелся в прихожей под вешалкой, – и только к восьми часам утра, совершенно измученный, воротился Каютин домой... Почти с такого же вечера, в таких же обстоятельствах и в таком же отличном, но полусонном состоянии пришел Каютин к своей двери и в ту роковую ночь, наутро которой началась наша история. Но как ключ был под дверь, то он беспрепятственно вошел в свою квартиру, с полусомкнутыми глазами разделся на своем голландском диване и поскорей отправился за ширмы, где и проспал благополучно до самой той минуты, когда почувствовал неестественный холод и слышал стукотню собственных зубов.

– Ну, извините... извините, – говорил Афанасий Петрович: – я никак не думал, что вы не заметите.

– Извиняю, – сказал Каютин торжественно. – Только научите, что мне делать? мне не в чем вытти!

– Наденьте мой фрак, – добродушно сказал Доможиров и опять покатился, пораженный несообразностью своего предложения: Каютин был высок и худ, а Доможиров низок и широкоплеч.

– Нечего с вами делать! – сказал Каютин, немного рассерженный. – Пойду рыться в своем чемодане: не найду ли чего в старом платье...

И он ушел.

Глава II

Пустая причина породила важные следствия

Едва вытащил Каютин на середину своей комнаты старый, запыленный чемодан и принялся его расшнуровывать, как послышался стук в дверь.

– Войдите! – закричал он, а сам убежал за ширмы.

В комнату вошла девушка лет семнадцати. Черты лица ее были благородны и привлекательны, необыкновенной белизны лоб, резко оттененный свежестью щек, нежный носик, будто выточенный искусным художником из слоновой кости, большие черные глаза с длинными, густыми ресницами, рот удивительной формы, особенно выигрывавший при улыбке, когда сверкающая белизна зубов разительно выказывала яркость ее губ и чудную их форму: такова была вошедшая девушка. Небогатый костюм ее отличался безукоризненной чистотой и грацией: ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый, и простенькая соломенная шляпка с синими лентами, положенными крест-накрест, удивительно шла к ее хорошенькой головке.

В маленькой красивой ручке держала она узелок, завязанный в фуляр. Ее узенькие ножки обуты были очень тщательно, что невольно вас поражало.

– Кто там? – спросил Каютин из-за ширмы.

– Я, – отвечала она гармоническим голосом.

– Ах, Полинька! голубушка! как я рад!

– Скажите, что у вас делается?

– Ах, ужасные вещи!

– Да вы живы?

– Жив!

– И здоровы?

– Здоров... Представьте, мой хозяин... Знаю: раму выставил... Я иду от Надежды Сергеевны, посмотрела на ваше окно: рамы нет; я испугалась.

– Чего ж бояться!

– Да покажитесь!

– Нет, нельзя.

– Ну, так я уйду. А вы приходите ко мне: я кофею приготовлю.

– Ах, ужасная жажда!.. Мы вчера ужинали, нас было много; пили... я за ваше здоровье выпил...

И Каютин остановился.

Лицо Полиньки нахмурилось; она тяжело вздохнула.

– Полинька! Палагея Ивановна, – с испугом закричал Каютин.

Она молчала.

Он проткнул немного ширму и посмотрел на ее задумчивое лицо. Полинька развеселилась, увидав его глаз.

– Зачем вы ширму разорвали?

– Чтобы вас видеть... Ах, как мне хотелось вас видеть! Разошлись мы часу в третьем ночи; я и пошел бродить мимо окон Надежды Сергеевны: часа три ходил, – все думал вас увидеть; мне так много, так много хотелось сказать вам.

Глаз Каютина исчез. Ширмы затрещали; сделав в них окошечко, он высунул голову и сказал: «Здравствуйте!» Она подошла поближе.

– Полинька, голубушка, поцелуйте меня!

– Вот прекрасно! с какой радости я буду вас целовать!

– Бедный я, несчастный! – начал жалобным голосом Каютин. – Никому-то меня не жаль... Ничего-то у меня нет... все украли... И Полинька на меня сердится!

– Украли? – с испугом спросила Поленька. – Да говорите же!

– Вот прекрасно! с какой радости я буду вам говорить!

Полинька подставила ему свою розовую щечку, но так далеко, что, как ни вытягивал он свои губы, все безуспешно.

Полинька смеялась громко и весело. Каютин сердился.

– Нехорошо, Поля, смеяться так; а еще меня упрекала в веселости!

– Я вас упрекала в ветрености, а не в веселости. Да кто же вам мешает? Извольте, я позволяю!

И Полинька лукаво нахмурилась и опять подставила щеку; но при новой попытке Каютина ширмы затрещали и покачнулись на Полиньку. Она в испуге отскочила, с криком: «ай, уроните!»

– Проклятая ширма! – сердито сказал Каютин.

– Да скажите мне лучше, отчего вы не можете одеться? – спросила Полинька и совсем неожиданно поцеловала его.

– У меня платье украли, – весело отвечал Каютин.

– Новое? – с испугом перебила Полинька.

– Новое.

И он рассказал ей свое приключение.

– Ах, бедненький! да ты, я думаю, страшно перезяб...

– Ах, озяб, да... ужасно озяб, – отвечал он, вспомнив свое пробуждение.

– Надень мой бурнус.

– Нет, зачем? теперь я согрелся; ты озябнешь.

– Я не провела целой ночи на холоду.

И Полинька стала снимать бурнус.

– Не надо, Полинька; ей-богу, мне тепло... Ты вот только... подойди опять поближе...

И он протянул губы; но Полинька не слушалась его.

– Ах, какое платьице! ах, какая ты хорошенькая! – закричал он в восторге, когда Полинька сняла бурнус, – Ну, полно же... ну подойди же... поцелуй... Ведь ты сама сказала, что я бедный: так утешь же меня!

– Выходите сюда, – сказала Полинька и перекинула ему через ширмы бурнус.

Каютин весело выбежал из-за ширм в ее бурнусе. Он остановился перед ней, положил руки на ее плечи и долго смотрел на нее молча. Много любви и счастья выражал его взгляд. Полинька тоже смотрела на него не бесчувственными глазами.

И вдруг обоим им стало грустно. Светлое выражение их глаз помутилось. Они еще продолжали смотреть друг на друга, как у Полиньки навернулись на глазах слезы. Может быть, одна и та же мысль пришла им в голову в одно время, – мысль, что прекрасное их счастье, которое теперь в их руках, они губят сами, что как неделю, месяц, полгода тому назад, так и теперь положение их столько же неопределенно, что бог весть когда оно определится... и что время, золотое, невозвратное время, идет!.. По-крайней мере, Каютин не сомневался, что такие мысли отуманили светлые глазки Полиньки. Он хорошо подметил за минуту, сквозь отверстие ширм, задумчивое, грустное выражение ее лица... Теперь лицо ее было еще печальнее. И, глядя на нее, Каютин внутренне содрогнулся: совесть громко заговорила в нем...

Бывают, минуты, когда сознание недостатков своих, упреки самому себе, забытые, снова данные и снова забытые обеты, – все, что в обыкновенную пору урывками и понемногу тревожит и тяготит нашу совесть, – все просыпается вдруг и начинает говорить в душе разом. Такая минута настала для него.

– Полинька, – сказал он, встав перед ней на колени и пожимая ее руку, – Полинька! ты молчишь; но я знаю, что ты теперь думаешь... Знаю, что думаешь ты всякий раз, когда вдруг лицо у тебя нахмурится и слезы засверкают в глазах... знаю, сколько упреков, горьких, справедливых, убийственных, кипит тогда у тебя на душе. Но ты добра, ты великодушна: ты молчишь... И не говори... я сам знаю... я ужасный человек, я злодей. Помнишь, когда я вымолил у тебя твою руку, я клялся, что буду всеми силами трудиться, чтоб устроить нашу жизнь, что непременно устрою ее... и через несколько дней я забыл свою клятву... я двадцать раз обещал тебе приняться за дело, искать себе работы, ехать куда-нибудь, ехать хоть на край света, только бы зарабатывать деньги, – и на другой день, много на третий, я все забывал!.. Вот еще вчера пошел я с такими прекрасными мыслями: получу деньги, расплачусь с долгами, примусь за дело... воротился...

– Зато прогулялся мимо окон Надежды Сергеевны! – перебила Полинька, улыбаясь сквозь слезы.

– О, я ужасный человек, Полинька! – продолжал Каютин в совершенном отчаянии. – Я недостойн тебя... я не стою твоего прощения... ты никогда не простишь меня!..

– Ты ни в чем не виноват, – тихо сказала она и провела рукой по его волосам...

– Не старайся утешить меня, не обманывай меня... я ведь знаю: ты все видела, ты страдала, но не хотела говорить; только личико твое становилось иногда так печально, слезы навертывались на глаза. Но не думай, чтоб я не замечал ничего: мне прямо на душу падали твои слезы, у меня на душе отзывались они. Они меня теперь душат, разрывают меня, Полинька... только теперь я почувствовал, что я делал, как губил и твое и мое счастье... Слушай же, Полинька!

И он поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его выражал чистосердечное раскаяние и твердую, непоколебимую решимость. Она стояла не шевелясь, с заметным усилием сдерживая рыдание...

– Я был ветреник, дурак, эгоист! я был недостойн тебя... Но я теперь другой человек! Клянусь тебе, Полинька, клянусь моей жизнью, моей честью, любовью к тебе, я буду другой... Я исполню твою молчаливую просьбу, которую читал я в глазах твоих всякий раз, как возвращался с пирушки, как просиживал целые дни, недели и месяцы сложа руки. Я исполню клятву, которую ношу в своем сердце с той минуты, как увидел тебя: я сделаю тебя счастливою!.. Я соберу все мои силы, – буду работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упрочено!.. Полинька! – заключил он, подняв к ней умоляющий взгляд: – угадал ли я твои мысли? успокоил ли я тебя сколько-нибудь? веришь ли ты мне?

Она упала ему на грудь и зарыдала. Но рыдания ее были сладки и успокоительны: она ему верила, верила столько же, сколько сам он в ту минуту верил своим обетам и надеждам...

Сидя на полу бедной комнаты, где старый чемодан заменял им кресла, они плакали, пожимали друг другу руку, сквозь слезы улыбались друг другу. Наконец утихло их волнение, так внезапно вспыхнувшее и столь бурное. Тогда они стали спокойнее говорить о своем положении.

– В Петербурге мне нет счастья, – говорил Каютин. – Да в Петербурге я и не могу серьезно работать: много соблазна, – трудно оставить старые привычки, не видаться с знакомыми.

– Не забегать ко мне раз по пяти в день, – прибавила Полинька.

– Нет, Полинька, как можно! Ты мне не мешаешь работать, – быстро сказал Каютин и покраснел, вспомнив, как часто манкировал уроками, чтоб поскорей увидеть свою Полиньку.

– В Петербурге тебе нельзя работать, а в провинции делать нечего, – сказала Полинька.

– Нечего! – воскликнул Каютин. – Как нечего? Напротив, там-то и работа нашему брату! Недаром говорят, – продолжал он с шутилой торжественностью, – что отечество наше велико и обильно! В разнообразной производительности наших лесов и гор, земель и необъятных рек скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые! Нужно только

уменьше да твердая, железная воля... Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший гроша, через десять – двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего? он отказывает себе во всем, отказывается от всего... обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу... С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства. И вот через несколько месяцев он уже мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними... А через год ему, может быть, придется быть в Сибири... Там опять борьба, лишения, вечный страх и вечная, неумирающая надежда... Вот как куются денежки, Полинька! «Счастье» – говорим мы, когда такой человек, наконец, воротится к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты... Не все наживаются плутнями, и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда... Но мы белоручки: мы ждем, чтоб деньги сами пришли к нам, упали с неба... о, тогда мы радехонки!.. да притом все мы большие господа: если мы не служим, так нам давай по крайней мере занятие профессора, литератора, артиста... Звание артиста конек наш, – а купец, подрядчик, промышленник... нам обидно и подумать! Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой, каков я, например... а, не правда ли, Полинька?

– Ну, ты еще будешь делать, – отвечала она. – Ведь ты год только как вышел из университета: когда же тебе...

– И еще надо взять в расчет, – начал Каютин, увлеченный своею мыслью, – что люди, пускающиеся у нас в такие отважные промыслы, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт – скорее: железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русское авось – вот единственные их руководители... Что же может сделать человек, у которого при доброй воле, трудолюбии, настойчивости и уме, разумеется, есть еще сведения?.. Я имею, – продолжал Каютин, одушевляясь более и более и начиная скорыми шагами ходить по комнате, – некоторые сведения в механике, в горном искусстве... водяные пути сообщения были всегда предметом особенных моих занятий...

– Поезжай в провинцию! – тихо и нерешительно сказала Полинька.

Каютин смешался. Будто ушат холодной воды вылили на него.

– Да, да... только как же, Полинька? ведь тогда нам нужно будет расстаться...

– И расстанемся.

– На несколько лет, – договорил он.

– Что ж делать!

– Нет, Полинька, нет... не говори! я не могу жить без тебя.

Полинька с упреком посмотрела на него.

– А твоя клятва? – сказала она. Каютин с минуту молчал.

– Я еду, еду! – наконец воскликнул он решительно. – Прости меня, Полинька, за минутное малодушие!.. Трудно мне будет расстаться с тобою... но так и быть... я еду, завтра же еду!.. Пусть не считают меня малодушным! пусть на меня не падает упрек, что я погубил наше счастье! Полинька! – заключил Каютин, вздрогнув и побледнев внезапно, – и у тебя слезы...

– Нет, – быстро сказала она, сделав над собою усилие и стараясь улыбнуться весело. – Мы будем писать...

– Да, каждую почту, – сказал он. – Руку, Полинька! жить и умереть друг для друга, что бы ни случилось. Не на день расстаемся мы, не к родным, не к друзьям, не на готовый хлеб

еду... Бог знает, что ожидает, меня... Бог знает, что может случиться и с тобою... Ах, голубушка! сердце у меня, обливается кровью при мысли, что будет с тобою?.. Ведь без меня ты уж решительно одна здесь останешься...

– Да ведь и ты тоже один будешь.

– Один... один... Я дело другое: я мужчина...

– Ну, а я женщина, – шутя сказала Полинька.

– Клянусь же тебе, Полинька, что, куда бы ни занесла меня судьба, что бы ни случилось со мной, какие бы несчастья ни суждено мне вытерпеть, ни на минуту не расстанусь я с мыслью о тебе; она будет поддерживать меня в неудачах и несчастиях... и вся моя цель, мое постоянное желание будет поскорей воротиться к тебе... Верь мне, Полинька...

– Обещай только беречь себя для меня, и больше ничего не надо, – сказала Полинька.

– Да, да... я буду беречь себя... А ты, Полинька? как будешь жить ты... одна... работой...

Тяжела такая жизнь.

– Жила же до сих пор, – сказала она.

– Жила... да ведь и я жил... и еще как жил! Ах, Полинька, скоро ли будем мы опять так жить?..

Он взглянул на Полиньку. Слезы текли по ее щекам... Он тоже зарыдал.

Но то была минутная и последняя вспышка горького чувства, разрывавшего их сердца. Когда через минуту Полинька подняла свою голову, скрытую на груди Каютина, лицо ее казалось уже светло и спокойно. Каютин ободрился.

Прежде всего я поеду к дяде, – говорил он, глядя ее черные роскошные волосы. – Поживу у старика, буду ухаживать за ним... Может быть, мне удастся выпросить у него несколько тысяч на разживу... Я буду присутствовать на всех ярмарках, на всех значительных рынках, сведу знакомство с купцами, с помещиками, стану присматриваться, прислушиваться... и тогда увижу, чем мне выгоднее будет заняться... Ах, какая досада, что мне нельзя завтра же ехать!

– Отчего?

– У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста – и марш.

– Тебе незачем терять здесь напрасно время, – сказала Полинька, – у меня есть триста рублей.

– Полинька! и ты хочешь, чтоб я взял у тебя деньги, которые заработала ты своими трудами?.. Я – у тебя! Полинька! пощади меня!

– Глупости! – отвечала Полинька. – Мне деньги не нужны, а тебе без них нельзя обойтись... что ж тут странного?

– Ты можешь захворать... Тебе захочется недельку погулять, отдохнуть, а я лишу тебя...

Полинька надулась.

– Так ты не хочешь, – сказала она сердито, – начать моими деньгами?.. Когда ты воротишься богачом, мне весело будет вспоминать, что наше счастье началось с моих денег...

– Полинька! голубушка! – воскликнул Каютин, целуя ее руки и едва удерживая слезы. – Ты ангел! я беру твои деньги... Но, клянусь, я ворочу тебе их с хорошими процентами: через три года (я уверен, что раньше; но я нарочно беру самый дальний срок), через три года я вернусь к тебе с пятьюдесятью тысячами... непременно... непременно!.. Ведь пятьдесят тысяч для нас довольно, Полинька! пятьдесят тысяч дают казенных процентов две тысячи; да заработать я могу легко две-три тысячи; вот, до пяти тысяч в год... на что нам больше!

– Да я еще заработаю... – начала Полинька.

– Э, Полинька! – перебил Каютин. – На твою работу нам нельзя рассчитывать.

– Отчего же?

– Хозяйство...

– Прекрасно! что ж такое! управилась с хозяйством, да и за работу...

– А дети?

– Какие дети? – спросила Полинька и слегка покраснела.

– Наши дети... ведь у нас будут дети, Полинька.

– Чем рассчитывать проценты с пятидесяти тысяч, которых еще нет, да будущие доходы, – сказала Полинька сердито, – вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете...

Каютин отыскал старое пальто, которое давно уже перестал носить, но которое, впрочем, оказалось хоть куда, только петли прорваны. Полинька принялась их заштопывать. В полчаса все было готово. Каютин нарядился в пальто, а Полинька получила во владение свой бурнус.

Уходя, она встретила в сенях дворника с рамой; за ним шел и сам Афанасий Петрович, желавший лично присутствовать при возвращении рамы на старое место.

– А какову штучку сыграл я с вашим женишком! – сказал он ей, кланяясь с стариковской любезностью и самодовольно указывая на раму: – а?..

И он расхохотался на весь свой маленький деревянный дом.

Глава III

Знакомство

Жара была страшная. В Струнниковом переулке, и всегда не слишком оживленном, царствовала глубокая тишина. Кругом все, утомленное, расслабленное, бездействовало... Не слышалось ни чирикания воробьев, ни воркования голубей. Курицы, вырыв себе ямы и спрятав нос под крыло, дремали. Грязная лохматая собака в изнеможении лежала в тени, высунув язык, и тяжело дышала. Только неутомимые мухи, жужжа, крутились в воздухе и безжалостно щеко-тали собаку; выведенная из терпения, она яростно их ловила с неистовым стуком зубов и проворно глотала...

Переулок приходился почти на краю города, и стук экипажей не мешал слушать всему населению тоненький голос башмачника, который, прилежно работая и пристукивая, пел немецкую песню у растворенного окна; ему тихо вторила молоденькая черноглазая девушка, сидевшая у окна второго этажа. Вокруг нее лежали лоскутки только что раскроенного платья. Но она не слишком прилежно работала, поминутно поглядывая искоса на окно противоположного дома, выкрашенного зеленой краской; при каждом взгляде яркий румянец покрывал ее щеки, хотя окно, возбуждавшее ее любопытство, по-видимому, не представляло ничего особенного. Золотое дерево и огромная старая герань, густо разросшаяся, закрывали его плотной зеленой стеною. Изредка листья колыхались, и тогда только можно было заметить два черные глаза, неподвижно устремленные на девушку.

Было так тихо, будто все замерло в воздухе; солнце только что перешло за полдень и равно на все предметы разливало жгучие лучи. Вдруг пахнул теплый ветерок; солнце ушло за тучу; пыль закружилась на тротуаре и на улице, как бы вальсируя. В одну минуту стало темнее; пыль, вертясь, поднялась столбом, кверху; рамы застучали и заскрипели, покачиваясь.

Девушка так была занята, что нечаянный стук рамы заставил ее вздрогнуть; ветер с силою рванулся к Ней в комнату, лоскутки разлетелись по полу, а рукав, лежавший на окне, легко взлетел на воздух и вертелся по прихоти ветра...

Она вскрикнула и печально следила за рукавом. Из зеленого дома выбежал высокий молодой человек, одетый очень небрежно, и, как исступленный, пустился ловить кисейный рукав, который, то опускаясь до мостовой, то взвиваясь высоко, будто дразнил своего преследователя, не даваясь ему в руки; длинные волосы молодого человека развевались по ветру, и пыль засыпала ему глаза.

Девушка следила за каждым его движением с таким же участием и замиранием сердца, с каким красавица средних веков не сводила глаз с турнира, где сражался ее избранный.

Наконец молодой человек устал, и движения его стали медленнее; но вдруг он высоко подпрыгнул, ловко схватил рукав и с торжеством побежал назад.

Девушка радостно вскрикнула и, покраснев, проворно скрылась от окна.

Волнение на улице между тем увеличилось; курицы, кудахтая и махая крыльями, побежали под ворота; некоторые забились под лавку у ворот одного дома и, нахохлившись, стояли рядом в боязливом ожидании; собака лениво встала, чихая от пыли, и, вытянувшись, тоже нырнула за курами под ворота. Из многих окон выставились руки, и рамы со стуком начали запираются.

Глухие удары грома изредка потрясали окна; грозная туча медленно надвигалась, – становилось почти темно.

Но не все слышали удары грома и видели тучу – предвестницу сильной грозы.

Молодой человек робко вошел в комнату черноглазой девушки. Светлая горница, очень чистенькая, комод с туалетом, шкаф, диван, соломенные стулья, – вот что увидел молодой человек; но он почувствовал такую неловкость, как будто очутился во дворце.

– Кто там? – спросила девушка, не поворачивая головы и продолжая шить, по-видимому, очень прилежно.

Человек спокойный мог заметить в ее голосе волнение; но гостю было не до наблюдений: сам сильно взволнованный, он отвечал, тяжело дыша:

– Я-с. – Ах! – вскрикнула девушка и повернула к нему свое розовое личико.

Так они довольно долго смотрели друг на друга в молчании.

– Вот рукав, – первый начал молодой человек.

Он подал ей рукав. Она сказала:

– Как я вам благодарна!.. я боялась, чтоб он не запачкался!

– Нет, он только немного в пыли... И какой миленький рисунок; верно...

– Это чужое! – перебила его девушка и, не зная что еще сказать, вдруг спросила: – А вы далеко жи...ве...те?

Она страшно покраснела и едва могла договорить свой вопрос.

– О, очень близко! вот-с, вот мое окно, с зеленью. И он лукаво посмотрел на девушку.

– Вы любите цветы? – спросила она.

– Очень; только это хозяйские; я так уж с ними и нанял. А вы любите?

– Люблю; это все моего сажанья; вот я посадила лимонное зерно: посмотрите, как выросло в год!

И она подала молодому человеку отросток лимонного дерева.

– Да-с, очень большое...

Запас для разговора вдруг истощился. Наступило долгое молчание.

– Садитесь, – сказала девушка, подвигая стул своему гостю.

– Благодарю, мне пора домой...

В то самое время ярко сверкнула молния; они оба вздрогнули; девушка перекрестилась. Страшный удар грома потряс ставни.

– Ах, какая гроза! – воскликнула девушка, бледнея.

– Вы боитесь грому? – спросил гость.

– Нет, это так... вдруг, неожиданно... я оттого испугалась.

Удары грома повторялись чаще и чаще, и вдруг дождь хлынул рекой, барабана в крышу, стекла и железные подоконники.

– Какой дождь!

– Теперь уж гроза не опасна.

– Садитесь, переждите! – весело сказала девушка.

Дождь дал ей право на беседу с молодым человеком, и она почувствовала себя свободнее.

– Не беспокойтесь!.. Не вынести ли на дождь ваш отросточек?

– Ах, нет! – с живостью возразила девушка и прибавила: – его могут разбить.

– Кто же смеет его разбить? – угрожающим тоном спросил молодой человек.

– Да моя хозяйка: она такая сердитая.

– А, так она вам надоедает? – спросил молодой человек.

– Нет; но она все ворчит, а я не люблю с нею говорить.

– А дорого вы платите за квартиру?

– Двадцать рублей с водою, да только она не дает воды: я плачу особо мальчишкам башмачника. А, да вот и ее голос; верно, свои цветы выставляет.

Девушка отворила окно и нагнулась посмотреть. Башмачник, белокурый немец, низенького роста, с добрым выражением лица, стоял на тротуаре и поправлял свои цветы: два горшка месячных роз. Он промок до костей, и лицо его приняло такое жалкое выражение, что молодой человек, улыбаясь, сказал:

– Посмотрите, немец-то как измок. – Да!

И девушка тоже улыбнулась.

Башмачник, очевидно, был в сильном волнении: вымоченные, почти белые волосы прилипли к его бледному лицу, которому внутренняя тревога сообщала выражение тупости. Он давно уже стоял здесь – с той самой минуты, когда молодой человек пробежал к его соседке, – и, казалось, не замечал ни ударов грома, ни проливного дождя.

Увидав, что на него смотрит девушка, башмачник начал в смущении ощипывать с своих роз сухие листья.

– Эй, Карло Иваныч! Карло Иваныч! – басом кричала ему толстая женщина, высунувшись в окно нижнего этажа.

То была владелица дома – мешанка Кривоногова, перезрелая девица, особенно замечательная цветом лица: широко и безобразно, оно было совершенно огненное; рыжие, чрезвычайно редкие волосы ее росли тоже на красной почве; маленькая коса, завязанная белым снурком, торчала, как одинокий тощий кустик среди огромной лощины. Плечи хозяйки были так широки, что плотно врезывались в окно, на котором она лежала грудью.

Встревоженный башмачник не слышал нетерпеливых криков девицы Кривоноговой.

– Вишь, немчуря проклятая! еще и глух! Эй, Карло Иваныч! – повторила, она голосом, который напомнил соседям недавний удар грома.

– А? что?

И маленький немец завертелся на все стороны.

– Сюда! ха, ха, ха! чего испугался?

– Что вам, мадам?

– А вот что, гер! коли уж вам пришла охота мокнуть вместе с цветами, так возьмите ушат да и подставьте его к трубе. Вишь, какая чистая вода! а мне не хочется платья мочить.

Башмачник теперь только заметил, что вымок так же, как и его цветы. Он с ужасом взглянул на свое чистенькое платье и бросился со всех ног в комнату, позабыв даже цветы.

– Экой шальной, прости господи!

Красная хозяйка плюнула, не без труда вытащила из окна свои пышные плечи, и скрылась.

Через две минуты девочка и мальчик лет шести весело выкатили кадку на улицу и поставили ее под трубу. В трубу с журчаньем стекали ручьи. Крупный дождь сменился мелким; петухи запели, важно выступая; воробьи радостно припрыгивали и чирикали; голуби, воркуя, утоляли жажду. Воздух очистился, и на мраморном небе явилось солнце, играя в больших лужах, которые неподвижно стояли среди улицы.

Девочка долго любовалась отражением неба в луже и сказала своему брату:

– Феда, а Феда! хочешь, я пройду по небу?

– Ну-ка, пройди, Ката.

Дети картавили.

Девочка высоко подняла платье и пустилась прохаживаться по луже с громким смехом; брат не вытерпел: принялся за то же, – и веселый смех детей звонко раздавался в чистом воздухе.

В слуховом окне зеленого дома показался толстый мальчишка лет девяти, с большими красными ушами, басом закричал на детей: «Что вы шалите?» и спрятался. Дети вздрогнули и кинулись вон из лужи; они в недоумении осматривались кругом, – вдруг красноухий мальчишка снова выглянул; дети показали ему язык; он бросил в них черепком.

– А, красноухий!

И дети силились длинней выставить свои крошечные красные язычки.

Между тем лохматая собака похлебала из лужи; но, видно, грязная вода не удовлетворила ее: пользуясь суматохой, она принялась жадно лакать из ушата.

Ссора прекратилась; дети кинулись к собаке с угрожающими жестами, крича: «Розка! Розка!», но вдруг они стали ласкаться к ней, заметив хозяйку, показавшуюся в окне.

– Ката! увидит! – говорил мальчик.

– Нет, не гони Розку, Феда.

И девочка своим маленьким туловищем защищала Розку, которой огромная, неуклюжая фигура совершенно не соответствовала нежному названию.

– Эй, что шалите! – крикнула хозяйка, плотно улегшись в окно.

И собака и дети вздрогнули. Розка даже не решилась облизать свою мокрую морду и смиренно села на задние лапы.

– Что же вы не тащите воды в кухню? а? шалить? вот я вас!

И хозяйка скрылась.

– Понесем, Ката! – робко сказал мальчик.

И они старались сдвинуть ушат, но он только покачивался, вода плескалась.

С большим усилием, и то боком, прошла в калитку краснорыжая хозяйка, держа в руках две шайки, некогда украденные ею в бане.

Широкое пестрое ситцевое платье обрисовывало очень ясно ее гигантские формы; ее красная шея, вся в складках, была полуоткрыта; один бок платья, заткнутый за пояс, давал возможность видеть два огромные красные столба, которые по своей крепости могли сдерживать какое угодно здание. Босые ее ноги были обуты в истоптанные полуботинки.

– Ах, вы, лентяи! видите, вода через край льется, а не тащите в кухню! – на всю улицу кричала хозяйка.

– Мы не можем, тетенька! – в один голос сказали испуганные дети.

– Не можете! а шайки отчего не взяли, а?

И хозяйка гневно вручила каждому по шайке. Дети, почерпнув воды, поплелись к калитке.

– Тише, не плещите! – повелительно командовала хозяйка, а сама поглядывала на верхнее венецианское окно зеленого дома. Заметив красноухого мальчишку, она радостно закричала:

– Митя! а Митя!

– Ась? – выглянув, сказал мальчишка.

– Что ты делаешь на чердаке?

– С котятками играю.

И мальчишка показал из слухового окна маленького котенка, которого держал за шею.

– Кинь-ка сюда его! ха, ха! – говорила хозяйка.

– Не смею: тятенька услышит.

– А он спит?

– Спит.

– Ну, так не услышит; брякни-ка его, брякни!

И хозяйка делала выразительные жесты. Мальчишка, ободренный хозяйкой, вышвырнул на крышу всех котят, и они с мяуканьем начали карабкаться по ней.

Вдруг венецианское окно стукнуло: высунулась небритая фигура в белом вязаном колпаке, в старом халате, и старалась заглянуть на крышу.

– Эй, кто там? Митька, что ли? а? кто котят трогает? – кричал с озабоченным видом Доможиров, обладатель дома и мальчишки, который, притаясь, спрятался за трубу.

– Что это вы, никак спите? – сказала хозяйка, кокетливо обдергивая свое платье.

– А что? да я хочу посмотреть, кто котят трогает.

И Доможиров чуть не выскочил из окна, стараясь открыть преступника.

– Слышали, какой ужасный...

– Что? что такое? пожар близко? а? – в испуге перебил Доможиров.

– Эх! ха, ха, ха! – подбоченясь, смеялась хозяйка. – Дождь...

– Когда?

– С четверть часа; видите, какой лил!

– Ах, жаль! я бы свои цветы вынес.

– Проспали! а я так для чаю воды приготовила; такая чистая, лучше, чем из канала. Милости просим, милости просим!

И хозяйка, потрясая мостовую, легкой рысью пошла домой.

Между тем ни девушка, ни ее гость не замечали, что буря прошла. Песня башмачника снова слышалась под окном, смешиваясь с постукиванием молотка.

– Вам весело; у вас сосед такой певун, – сказал молодой человек.

– Да, он такой добрый! – отвечала девушка и, взглянув в окно, прибавила печально: – Дождь перестал.

– Перестал?

И молодой человек вглядывался в воздух. Девушка высунула свою беленькую руку из окна и радостно сказала:

– Нет еще, идет... маленький...

– Прощайте, извините, что я вас без...

Молодой человек замялся.

– Ничего... я очень вам благодарна... я рада... прощайте!

– Мое почтение!

Гость вышел. Оба они были в волнении. Она кинулась к окну, присела и украдкой следила за ним, а он, ловко перескакивая с камня на камень, поминутно оглядывался. Вдруг нежно начатая нота оборвалась; девушка увидела башмачника, который тоже переходил улицу. Взяв с тротуара свои розы, он медленно воротился домой.

Девушка стала работать, но то иголка колола ей палец, то нитка рвалась, то она забывала сделать узел и усердно стегала, не замечая, что шитья не прибывало. Грудь ее сильно волновалась, и улыбка поминутно показывалась на ее довольном личике, которое горело ярким румянцем. Дверь скрипнула: Катя и Федя вошли в комнату.

– Что вам? – ласково спросила девушка.

– Дядя цветочек прислал тебе, – отвечала Катя, смело подавая ей тощий розан, который недавно красовался на тротуаре.

– Скажи дяде спасибо. И она поцеловала детей.

– Ах, какие вы мокрые!

– Мы воду носили, – самодовольно и в один голос отвечали дети, которых теперь нельзя было узнать: они ясно и весело смотрели в светлые глаза девушки, не обнаруживая ни робости, ни грубости.

Катя и Федя с двух лет начали вести кочевую жизнь. Слова «мать и отец» были им чужды и заменялись общим выражением: тетенька и дяденька. Они не знали ласк и нежного попечения, зато инстинктом понимали, что не смеют и не должны иметь своих желаний. И у них не было капризов с теми людьми, которые обходились с ними грубо. Послушание их было невероятное: иногда хозяйка грозно крикнет: «молчать» – и дети молчат целый день, меняясь только между собой выразительными взглядами. Ни новое жилище, ни новые лица – никакие перемены не смущали и не удивляли их; с трех слов они уже свыкались с характером тех, – чьим попечением вверяла их мать – за четыре рубля серебром в месяц. Разумеется, только страшная нужда заставила мать бросить своих детей. Жертва вероломного оболъстителя, она лишилась места гувернантки и должна была итти хоть в нянюшки, чтоб кормить детей. Ее редкое появление, вечно печальное лицо, угрозы хозяйки: «погодите, мать придет: высечет», – все вместе действовало на детей так, что они дичились своей матери. Огорченная их равнодушием, часто бедная женщина плакала; но дети не понимали ее слез, еще больше чуждались ее и прощались с ней с радостью. Взамен любви к родителям, дружба между братом и сестрой развилась до такой степени, что одни желания, одни привычки были у них. Хотели заставить сделать что-нибудь брата, стоило погрозить сестре, и наоборот, все тотчас исполнялось. Самый маленький

кусочек делили они пополам. В целый день с ними никто слова не скажет, а дети говорят между собой безумолку, и, вслушавшись в их болтовню, удивишься их наблюдательности. Зато с теми, в ком замечали ласку и любовь, они становились смелы, любопытны и резвы.

Вскарабкавшись на окно, Катя обняла девушку и крепко целовала ее; Федя тоже тянулся к ней.

– Катя, Федя, тише! платье запачкаете!

– Тетя, посмотри, вон дядя смотрит! – наивно сказала Катя, – указывая пальцем на молодого человека, который появился в окне зеленого дома.

Девушка невольно повернулась. Молодой человек слегка поклонился и поманил детей. Дети закопошились и с криком: «дядя зовет!» побежали к двери, но вдруг остановились, как вкопанные: в дверях стояла тетенька (как звали дети толстую хозяйку).

– Куда, стрекозы, а?.. Здравствуйте, моя красавица!

– Здравствуйте, – сухо отвечала девушка.

– Что поделываете? Вишь, какого дождя бог послал... Себе, что ли? – спросила девица Кривоногова, протянув красную руку к кисее.

– Нет, чужая работа.

– Вот то-то и есть! что хорошего – чужое! Небось, погулять хочется иногда, а тут шей да шей; будь еще старуха, как я, – куда ни шло! а то молодая. Плохое житье!

– Что ж делать? Вот вы советуете мне гулять, а как я вам раз целкового недодала в срок, так хотели взять мой салоп...

– Ну, старый человек любит поворчать! Вот до вас жила у меня тут жилица – такая красивая, право; также всё работала, бог и устроил ее; теперь барыня барыней; в пятницу прихожу к ней, а она в шелковом платье сидит. Такая добрая! ситцу мне подарила...

– Замуж вышла?

– Уж и замуж! кто возьмет бедную? может, он потом и женится, коли умна будет. Зато какой салоп сатан-тюрковый сшил ей – чудо! А ты, чай, и шерстяной едва заработаешь, а?

– Проживу и в шерстяном.

– Ох, молодость, молодость! вот и та сначала то же говорила, а как захворала, запела другое. Прежде казался стар, а теперь ничего: свыклась...

– Нет, уж я лучше умру с голоду! – воскликнула девушка.

– Так, по-вашему, с голым лучше связаться, вот как тот вертопрах? – возразила хозяйка, указав на окно зеленого дома. – Целый день торчит у окна, выпучит глаза и смотрит.

Девушка покраснела и боялась поднять голову.

– Ха, ха, ха! вот хорош муж! день-деньской ничего не делает, не служит, за квартиру не платит. Уж если б я...

В ту минуту Федя чихнул; не кончив одной мысли, девица Кривоногова перешла к другой.

– Вот их мать тоже связалась с бедным, – теперь дети по углам и шляются. Сама место потеряла хорошее. Бог знает у кого живет. И что за деньги? четыре целковых! да они больше съедят; утром и вечером чай, – подумайте сами.

Но слушательница сильно скучала и не хотела подумать. Девица Кривоногова продолжала:

– Так только, из жалости держу; сердце у меня такое доброе... Что вы торчите тут? в кухню пошли!

Приказание относилось к детям, которые немедленно скрылись. Хозяйка подвинулась ближе к своей жилице и, нагнувшись к ней своим красным лицом, с лукавой и злобной улыбкой сказала:

– Карты есть? дай погадаю!

– Вы знаете я никогда не гадаю... у меня нет карт, – отвечала жилица, отворачиваясь.

– Ну, ну, не надо карт, я и так скажу: есть головушка, о молодежи крепко думает; в парчу, в золото оденет красну девицу, пальцы перстнями уберет, – полюби только молодца... а?

И хозяйка так близко нагнулась к девушке, что та почувствовала ее дыхание и быстро отодвинулась.

– Что вы говорите? – сказала она с испугом.

– Что говорю? добра желаю тебе! человек пожилой – видел тебя, приглянулась; отчего же не сказать? сердце у меня доброе. Право, богата будешь и работать не станешь; а скажи одно словцо – и дело с концом...

– Оставьте меня в покое; я знать ничего не хочу! – отвечала жилица голосом, в котором дрожали слезы.

Хозяйка сдвинула свои рыжие брови, гневно открыла рот; но в ту минуту дети вбежали в комнату и разом крикнули: «Тетенька, вас барин чужой спрашивает!»

– Сейчас!.. Ну, посмотрю я, долго ли, голубушка, ты поломаешься? Сама попросишь потом, так уж не прогневайся – поздно будет!

И девица Кривоногова с достоинством удалилась.

Уже не раз она делала жилице своей такие предложения, но жилица упорно не хотела своего счастья, по выражению хозяйки. Знакомство жилицы с молодым человеком приняло серьезный оборот. Сначала поклоны, потом коротенькие визиты, наконец визиты продолжительные. Часто проходящие видели молодого человека, с жаром читавшего вслух книгу, и девушку, которая жадно его слушала, забыв работу. По воскресеньям у жилицы собиралось довольно большое общество: Ольга Александровна – мать Кати и Феде, башмачник, иногда рыжая хозяйка и непременно всегда молодой жилец зеленого дома.

Недолго молодые люди наслаждались спокойствием; благодаря искусным сплетням девицы Кривоноговой злословие скоро разлилось по всему переулку. Частые слезы жилицы разрывали душу башмачника. Наконец он не выдержал: явился к молодому человеку, рассказал, как огорчают бедную девушку наглые сплетни соседей, – горячо говорил, что так или иначе нужно положить делу конец и побережь доброе имя девушки.

– Я хозяйку прибью, да и всех, кто посмеет дурно говорить о Палагее Ивановне! – воскликнул молодой человек.

Читатель, разумеется, уже догадался, что девушка – наша Полинька, а молодой человек – Каютин.

– Вы не имеете права! – возразил башмачник. – Вас полиция возьмет.

– Ну, я жених ее – вот и все! я хочу жениться на ней! кто посмеет сказать дурно о моей невесте, а?

И взгляд Каютина сделался грозен. Башмачник побледнел, покраснел, с минуту стоял в нерешительности, потом быстро схватил руку Каютина.

– Да, хорошо! теперь вы можете защищать ее: вы жених!

Он с великим трудом договорил: же-ни-х, повесил голову и задумался.

– Я сегодня же сделаю стговор! не правда ли, чем скорее, тем лучше? Карл Иваныч, голубчик! вот вам деньги: купите вина две бутылки... конфетов... и еще чего бы?

И Каютин ходил по комнате в волнении.

– Ну, да сами придумайте, а я побегу к ней!

Каютин, как стрела, пустился через улицу. Карл Иваныч следил его тупым взглядом, и когда Каютин показался в окне Полиньки, он быстро отвернулся. Слезы градом текли по его бледному лицу.

Вечером комната Полиньки ярко светилась. В гостях недостатка не было: тот день был воскресный. Карл Иваныч, во фраке и в белом галстуке, играл на скрипке старинный вальс и печально следил за Полинькой и Каютиным, которые без усталости вальсировали в маленькой комнате, безумно веселы и счастливы...

Лицо башмачника было страшно бледно; то он переставал играть и в изнеможении садился: тогда и вальсирующие останавливались; то вдруг издавал странные аккорды и начинал собственную фантазию, которая оказывалась неудобною ни для какого танца.

За полночь гости разошлись. В переулке разнесся слух, что тут свадьба, и многие долго ожидали прибытия из церкви невесты и жениха.

Вот почему Полинька так свободно обходилась с Каютиным.

Глава IV Пирушка

В тот день, с которого начинается наша повесть, Полинька, оставшись одна, задумчивая и озабоченная, подошла к своему комоду, отперла верхний ящик и достала из-под груды разноцветных лоскутков, ниток и шерсти небольшой красивый портфель. Размотав розовую тесемочку, она открыла его: там были деньги. Зная очень хорошо, сколько у нее денег, она, однакож, внимательно пересчитала их: оказалось ровно сто рублей. Полинька вздохнула; облокотясь на комод, она долго думала. Вдруг лицо ее просияло радостной улыбкой. Проворно пошарив в углу ящика, она достала сверток, развернула его, и шесть блестящих столовых ложек застучали по комоду. Это было ее трудовое добро. Зная ветреный характер своего жениха, она трудилась вдвое, чтоб сколько-нибудь обзавестись к свадьбе. Она страшно боялась вытти замуж без верных средств к жизни; печальный пример ежедневно был перед ее глазами; может быть, и ее дети должны будут жить в чужих людях и терпеть горе, как дети Ольги Александровны. Принужденная жить трудами, Полинька поневоле смотрела практически на жизнь.

Блеск ложек, кажется, ослепил ее: она закрыла лицо руками; потом, взяв со стола маленькие часы довольно грубой отделки, долго любовалась ими, прислушивалась к их бою, наконец почистила их и положила в футляр. Обревивовав так свое богатство, Полинька снова спрятала его и села к окну, где стоял ее рабочий столик.

Долго смотрела она на окно Каютина, в котором рама была уже вставлена, и слезы ручьями полились из ее глаз...

Полинька оделась довольно тщательно и протянула было руку к часам, но горько усмехнулась и не взяла их.

Было около семи часов вечера, когда она вышла из дому; на улице становилось темно; фонарей еще не зажигали. Полинька шла очень скоро в глубокой задумчивости; брови ее были сдвинуты; она кусала свои розовые губы. Незаметно очутилась она в одной из главных петербургских улиц и проворно взлетела на лестницу огромного дома, на котором среди множества вывесок всех цветов и размеров ярче всех бросалась в глаза исполинская надпись золотыми буквами:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Надпись оканчивалась фамилией владельца с огромным восклицательным знаком, будто сам художник не мог достаточно надивиться своему произведению и добродушно рекомендовал его удивлению других. При входе, у подъезда, и по всей лестнице беспрестанно попадались второстепенные вывески такого же содержания, но без восклицательных знаков; в самом деле, удивляться было уже нечему: на небольшой доске надпись белилами по красному полю и голубая рука с вытянутым указательным пальцем: таковы, были второстепенные вывески.

Добежав до третьего этажа, Полинька дернула за колокольчик... При входе в прихожую ее поразил страшный говор.

- Что, у вас гости? – спросила она у курчавого парня, в синей сибирке, с бородкой.
- Гости, – гордо отвечал артельщик.
- Здесь Надежда Сергеевна?
- Здесь-с.

Сделав несколько шагов коридором, Полинька вошла в небольшую комнату, в которой стояли две детские кровати, диван и стол с чашками, стаканами и огромным самоваром, величественно пыхтевшим. На диване сидела женщина лет двадцати пяти, которой бледное, болезненное лицо выражало следы долгих и тяжелых страданий. На руках ее спал ребенок; крупные слезы, как роса на розовом листке, замерли на его щеках.

Они поздоровались, и Полинька спросила, прислушиваясь к шуму соседней комнаты:

– А что, у вас опять гости?

– Да, – со вздохом отвечала хозяйка. – Ты лучше спроси, – прибавила она с странной улыбкой: – когда у нас их не бывает?.. Разве его дома нет!

И она осторожно положила сонного ребенка в кровать, потом подошла к другим детям, спавшим в той же комнате, и, оправляя подушки, спросила:

– Ты что-то не весела сегодня? Лицо Полиньки вдруг потемнело.

– Я принесла тебе нерадостные вести, – отвечала она, и глаза ее наполнились слезами.

– Что такое?.. что случилось? – с участием спросила хозяйка.

Полинька вздыхала... Громкий, дружный хохот нескольких голосов, неожиданно раздавшийся в ту минуту из соседней комнаты, заставил всех вздрогнуть. Грудной ребенок заплакал раздирающим голосом; хозяйка побледнела и кинулась успокаивать его.

– Да они детям уснуть не дадут, – заметила Полинька.

Хозяйка не отвечала, но в каждом взгляде ее на дверь выражался печальный упрек.

– Какое горе у тебя, Полинька? – спросила она, желая переменить разговор.

Пересказывая приятельнице свое горе, Полинька долго крепилась; наконец сил у нее не стало: она расплакалась.

– Полно! о чем плакать? вы еще молоды. Ну, что было бы хорошего, если б вы теперь обвенчались? ни у него, ни у тебя ни гроша...

– Да, я знаю, что нельзя!.. – отвечала Полинька, отирая слезы: – а все-таки мне грустно... мало ли что может случиться...

– Одно может случиться, что он разлюбит тебя. Так пусть лучше разлюбит, пока не обвенчались... а то дети...

Надежда Сергеевна тяжело вздохнула.

– О, он меня не разлюбит! – самодовольно отвечала Полинька. – Я пришла к тебе посоветоваться, – продолжала она, приняв важный вид: – не знаешь ли ты, у кого денег взять под залог?

– А тебе разве нужно?

– Да, мне нужно заложить часы и ложки...

– На что? – встревоженно спросила Надежда Сергеевна.

– Да у него нет денег на дорогу. Он хотел остаться здесь на месяц, чтоб заработать, да я подумала: он такой ветренный, пожалуй, опять решимость пройдет... так я лучше хочу дать ему денег...

– Смотри, не скоро опять выкупишь.

– Отчего? я еще больше буду работать, когда он уедет.

– Хорошо, если так, а то бог знает что может случиться.

– Да что же случится!

– Захворает.

– И выздоровлю.

– Я бы тебе сама денег дала, – со вздохом сказала Надежда Сергеевна, – да как просить у него...

– Нет, полно, – перебила Полинька, – как можно! тебе самой нужно... у тебя дети! Я за себя не боюсь: я одна...

– У моего мужа есть знакомый, – он еще с ним в компании, – который, говорят, дает деньги.

– Кто он?

– Да он, кажется, теперь здесь...

Хозяйка подошла к двери, и, отняв сбоку занавеску, заглянула в соседнюю комнату.

– Точно здесь, – сказала она, – у него пренеприятное лицо; но муж говорит, что он отличный человек.

Полинька тоже любопытствовала заглянуть за занавеску.

В комнате, убранной с безвкусным великолепием, вокруг стола, установленного бутылками, сидело, ходило и лежало человек десять, с красными лицами и сверкающими глазами; они кричали, хохотали, чокались, целовались и пели. Полинька была скромна, но чувство скромности не переходило у ней в щепетильность и чопорность, и она с любопытством рассматривала холостую пирушку, которой не приводилось еще видеть ей ни разу в жизни, и не смущалась тем, что не на всех пирующих были галстуки, а на некоторых не было даже и сюртуков. Прежде всего, бросался в глаза господин, которому высокий рост, широкие плечи, огромный лоснящийся лоб и круглые красные щеки, удачно скрадывавшие своей одутловатостью непомерную величину носа, давали неотъемлемое право на название «видного мужчины». На глаза некоторых он мог назваться даже красавцем. Наряд его поражал пестротой и изысканной роскошью: в его шарфе горел брильянт, оскорблявший своею огромностью всякое чувство приличия, а толстые пальцы его жестких и красных рук усеяны были кольцами и перстнями, столько же безвкусными, сколько и богатыми. Во всю длину груди шла золотая толстая цепь; на животе тоже красовалось золото, в форме разных зверей, птиц и рыб. Его черные, довольно жидкие волосы, с висками, зачесанными к бровям, щедро натерты были фиксатуаром. Походку имел он величавую, а в маленьких, заплывших жиром глазах его выражались самодовольствие и презрительное высокомерие. Говорил он сиплым басом, резко и отрывисто, и хохотал – исключительно собственным шуткам – так, что стекла дрожали. Он беспрестанно обходил с бутылкой гостей, наполнял стаканы, непомерно проливая, и приставал с просьбами пить.

– Что ж, господа! – говорил он с упреком: – никто не пьет! Разорить, что ли, хотите Ивана Тимофеича?.. Ведь я для того купил, чтоб пить... ей-богу! или боитесь, нехватит на ночь?.. А Иван-то Тимофеевич на что?.. Стоит турнуть гонца к благодетелю... А? не правда ли?

Благодетель, к которому относились последние слова видного мужчины, господин с стеклянным лицом и стеклянными глазами, по всей вероятности винный продавец и главный потребитель своего товара, энергически отвечал:

– Для милого дружка и сережка из ушка; хоть бочку прикатим, слова не скажем!

– Уж еще мы не пьем! – возразил видному мужчине один рыжий гость обиженным голосом. – Да я еще за обедом водки три рюмки да хересу стакана четыре выпил... а ведь каждый стакан хересу бутылки шампанского стоит!

– Ну вот, – перебил его видный мужчина, – расхвастался! десять человек... а что выпили? стыдно сказать! всего... всего, – заключил он тоном тончайшей иронии, – третью дюжину допиваем!

Раздался дружный хохот гостей, покрытый собственным хохотом видного мужчины.

– Борис Антоныч, сделайте одолжение!

Господин, к которому теперь обратился видный мужчина, сидел на диване; видна была только его голова, которая висела почти над самым столом, резко отличаясь своею бледностью. Лицо маленькое, с миниатюрными, очень тонкими и нежными чертами, необыкновенно черные курчавые волосы, изредка пересыпанные седыми, пронизательные большие глаза, радостно вращавшиеся кругом, и густые нависшие брови, которые, казалось, неохотно расправлялись вопреки своей привычке хмуриться: таков был Борис Антоныч.

– Вы знаете, что я не могу много пить, – отвечал он тонким и приятным голосом.

– Для меня! – неумолимо возразил видный мужчина, двинув к нему стакан, который пришелся почти на одной линии с носом курчавого старичка.

– Для вас – извольте! Я не знаю, чего бы я не сделал для почтеннейшего нашего Василия Матвейча! да и каждый из нас... не правда ли, господа?

– О, разумеется!

– Василий Матвейч, – продолжал курчавый старичок, – между нами голова. Ему на роду написано ворочать миллионами.

– Вашими устами мед пить! – отозвался видный мужчина, лицо которого засияло, и протянул к старику стакан.

Они чокнулись и выпили.

– Сто лет жить, сто миллионов нажать! – воскликнул курчавый старичок, поставив свой стакан. – Уж как Василий Матвейч вздумает покутить, так у него стыдно становится отказываться... Такое радушие – все нараспашку... десяток гостей назовет, а на сто вина закупит! хе, хе, хе!..

И курчавый старичок залился сухим, дребезжащим смехом.

– Уж кутить, так кутить! – величаво заметил видный мужчина.

– И надо правду сказать, – продолжал курчавый старичок, – кутить он кутит, да и дела не забывает. И бог знает, когда у него хватает на все времени! Человек светский, общество любит; утром – на завтраке; там, глядишь, обед дома, и за обедом гостей тьма; там в театре... как же?... нельзя и не повеселиться... мы ведь не хуже других. Денег, слава богу, довольно... надо свое сословие поддержать! хе, хе, хе!.. а оттуда частенько к цыганам, к Матрене Кондратьевне... а? есть тот грех?

– Дело житейское, – с гордостью отвечал видный мужчина.

– Думаешь, дело ждет... интерес упущен!.. Не тут-то было! и дело идет своим чередом, товар принят, почта отправлена, счета поверены... а все он же, Василий Матвейч!.. все он! без него в магазине ничего не делается!

И тут курчавый старичок лукаво посмотрел в правый угол, где молчаливо сидел человек с угреватым лицом, худо одетый, худо выбритый и худо причесанный. При взгляде старика по толстым потрескавшимся губам его пробежала злая, радостная улыбка, и он незаметно кивнул головой.

– Не понимаю, просто не понимаю такой деятельности, – продолжал курчавый старичок. – Да научите меня, Василий Матвейч, вашему секрету! я вот едва умею справиться с моим маленьким хозяйством.

– Очень просто, – глубокомысленно отвечал видный мужчина, – строжайший порядок... ежеминутная отчетность, исполнительность?... аккуратность... все по часам... строгость... ночи не спишь за делами...

– Я так и думал! – воскликнул курчавый старичок и опять лукаво взглянул в правый угол и получил в ответ ту же ядовитую, радостную улыбку. – Вот после того и судите о людях по наружности! А ведь другой, посмотревши на жизнь Василия Матвейча, как он то в театре, то у цыган, то на попойке, то у себя банкет задает, подумает сдуру, что он – извините, почтеннейший Василий Матвейч, – пустейший и ленивейший человек, за которого все делает какой-нибудь приказчик.

Курчавый старичок переглянулся с дурно причесанным господином.

– ...и которому, – заключил он любезнейшим и добродушнейшим голосом, – не миновать банкротства! ха, ха, ха! не правда ли, господа?

Курчавый старичок залился своим звонким смехом и светлым, добродушным взглядом обвел все собрание.

Никто, казалось, не заметил, что смех его отзывался зловещей иронией, и все добродушно смеялись вместе с ним, и всех громче и добродушнее смеялся сам видный мужчина!

Худо выбритый гоподин тоже смеялся в своем углу.

– Выпьем же, господа, – воскликнул Борис Антоныч, – за здоровье почтеннейшего и деятельнейшего Василия Матвеича.

– Выпьем! выпьем!

– Вина! – закричал восторженно видный мужчина.

Принесли вино, хоть и в прежних бутылках было еще довольно; пробка хлопнула, и видный мужчина начал наливать.

– А Харитону-то Сидорычу, – заметил Борис Антоныч, указывая на дурно выбритого господина, – помощнику-то вашему... хоть, правду сказать, вы не очень нуждаетесь в помощниках... хе, хе, хе!

Старик опять засмеялся и лукаво шурился то на видного мужчину, то на его помощника.

– Нальем и Харитону Сидорычу, – отвечал видный мужчина, терпеливо выжидая с нагнутой бытылкой, пока осядет пена в стакане старичка. – Харитон Сидорыч! – продолжал он, дополнив стакан, совсем другим тоном: – что вы там, заснули, что ли? рыбу удите?

– Чего изволите? – подобострастно сказал худо причесанный господин, почтительно вставая.

– Приросли, что ли, к месту-то, батюшка? мне гостей помнить или вас? Могли бы и сами подойти... я вина не жалею... давайте стакан.

Харитон Сидорыч подошел со стаканом, и, когда видный мужчина наполнил его, он молча возвратился на прежнее место.

– Уф, руку отморозил! – сказал видный мужчина, ставя на стол порожнюю бутылку.

– Здоровье Василия Матвеича!

Все взяли стаканы и встали. Встал и курчавый старичок, но он почти не сделался выше.

– Скажи, пожалуйста, – обратилась удивленная Полинька к своей приятельнице, – тут есть какой-то маленький старичок. Что он, без ног, что ли?

– Нет, он уродец, горбун.

– А кто он такой?

– Да в компании с моим мужем. Вот он-то и дает деньги...

– А какой странный, сколько ему лет?

– Говорят, уж пятьдесят с лишком.

– А лицо, точно как у ребенка; волосы почти все черные! А глаза-то, глаза...

– У него отличные глаза, – заметила Надежда Сергеевна.

– Да, большие, черные, только как противно их прищуривает! А брови как нахмурит вдруг, так даже страшно делается... Он, должно быть, презлой...

– Муж уверяет, что он прекрасный человек... – Он так хвалит твоего мужа...

– Муж говорит, что он даже бедным помогает.

Вдруг занавеска с шумом распахнулась: вошел видный мужчина. Его глаза так блестели, щеки были так красны, а телодвижения так размашисты, что Надежда Сергеевна испугалась и побледнела.

– Что нужно? – быстро спросила она.

– Пуншу! – отвечал видный мужчина. – Мы пили, пили шампанское... да что толку?... Только слава, что вино!.. Так уж вы, Надежда Сергеевна, поусердствуйте, а мы всегда с нашей благодарностью.

И он хотел обнять ее. Но она с отвращением уклонилась.

– Полно, пожалуйста; не нежничай! лучше перейдите в другую комнату, а то детей перебудите!

– Дети... а! Петька, вставай!

И видный мужчина шел к кроватке ребенка.

– Тише; ну зачем вы его поднимаете? – сказала Полинька, скрывавшаяся в углу комнаты.

– А, Палагея Ивановна! как поживаете? не угодно ли к нам? – закричал видный мужчина. Надежда Сергеевна дернула Полинку за платье и покачала головой.

– Нет, я сейчас пойду домой, – отвечала Полянка.

– Ну, как желаете... Так налей же пуншу, да позабористей!.. Ну, что хмуришься?.. ведь ты у меня умница!

И он обнял ее за талию,

– Оставь меня! – сердито сказала она.

– Не годится, нехорошо! Добрая жена не должна сердиться на мужа... муж глава... Ее дело смотреть за детьми... Ах, дети! дай я их покажу!

– Они спят, не трогай! – твердо сказала мать, подходя к кровати сына.

– Не умничай! – сердито возразил видный мужчина.

– Я не позволю, не позволю!

И она смело посмотрела ему в глаза. Но он подошел, к кровати и закричал:

– Эй! Петька! вставай!

Сын проснулся и приподнялся.

– Вылезай: пойдем кутить!

– Боже! – воскликнула мать и в изнеможении села на диван.

Видный мужчина взял ребенка и в одной рубашке понес его к гостям.

Ребенок начал плакать; отец грозил ему:

– Ну, молчать, а не то смотри!

Полянка подошла опять к занавеске и видела, как он поднял ребенка над головой и закричал:

– Господа! вот вам будущий книгопродавец Кирпичов; прошу любить да жаловать!..

– Я боюсь, чтоб они не дали ему вина! – с отчаяньем сказала мать и тоже подошла к занавеске.

Отец учил сына танцевать; сын хмурился и готовился разреветься.

– Господа, выпьем за здоровье будущего миллионера!.. – сказал маленький горбун, – Хе, хе, хе!

– Bravo, bravo! – гаркнули все так дружно и громко, что ребенок страшно испугался, кинулся к отцу и пронзительным плачем присоединился к общему хору.

– Вина, скорей вина! – закричал видный мужчина, и остальные заревели:

– Да будет он достоин своего отца!

Чокнулись и выпили.

– Мама! – простонал ребенок.

– Господа, – заметил видный мужчина, – извините будущего миллионера: ему хочется спать... Скорей еще вина!

Пробка щелкнула, вино зашипело. Артельщик, красный столько же, как и гости, непомерно лил через край.

Видный господин подошел к столу взять стакан; Петя почувствовал себя свободным и бегом пустился к дверям, бойко топая маленькими ножками; мать приняла его в объятия, крепко прижала к сердцу, и ее крупные слезы падали на детскую головку...

– Прощай, я пойду домой, – сказала Полянка, грустно смотря на Надежду Сергеевну.

– Прощай; как же ты одна пойдешь?

– Возьму извозчика. А ты дай мне адрес того горбуна: я завтра понесу к нему свои вещи.

Позвали артельщика и спросили адрес.

– Ты проси больше, – заметила Надежда Сергеевна, когда красный артельщик, наговорив кучу лишних слов, удалился нетвердым шагом. – Он даст тебе втрое меньше, чем ты попросишь...

– Отчего?

– Уж у них так водится, говорит мой муж: иначе нельзя... Впрочем, муж говорил, что он честный человек.

– Я завтра непременно пойду к нему. Прощай!

– До свидания, Полянька! Смотри, не раздумай, не отговори своего жениха! Поверь мне: если он тебя истинно любит, так не разлюбит в два, в три года... А не то вы еще можете оба раза по три влюбиться.

Проводив такими словами свою приятельницу, Надежда Сергеевна стала укачивать ребенка.

В соседней комнате по-прежнему раздавались веселые крики и хохот, а лицо бедной матери становилось все задумчивей.

О чем она думала? какие мысли, какие воспоминания омрачили ее лицо, и всегда невеселое?..

Глава V

Душеприказчик

В одном селе умер помещик. По истечении сорока дней барыня приказала созвать всю дворню, явилась перед ней вся в черном и прочла волю покойного: вся дворня за усердную службу отпускалась на волю, а дворецкому, камердинеру, кучеру и повару назначалась еще особая награда, каждому по пятисот рублей. Барыня уже кончила чтение, но глубокое, торжественное молчание не нарушалось... И долго никто не мог сказать слова; только радостные слезы сверкали в глазах слушателей. Наконец общее чувство выразилось в единодушном, в одно время у всех вырвавшемся восклицании: «Царство небесное доброму барину!..» – и, видно, оно было непритворное и неподготовленное, потому что бумага выпала из рук барыни, и слезы градом полились по ее бледному лицу, когда оно раздалось в воздухе... оно было повторено три раза, и три раза как-то радостно и торжественно дрогнуло сердце помещицы... Долго в тот день не умолкали дружные, горячие толки о добром барине в радостной дворне... Наконец каждый стал думать о себе, и тут опять бесконечные толки: видно, много новых мыслей и планов прихлынуло в их голову с новым положением.

– Ты что станешь делать, брат? – спросил Дорофей, кучер, своего брата, камердинера.

– Я в Питер, – отвечал камердинер, у которого была там зазнобушка, – дело знакомое: каждый год катались туда с бариним... да и город знатный!

– Ну, в Питер, так в Питер, с богом!.. А вот я так подержусь около здешних мест... Попробую поторговать: не даст ли бог счастья.

– В добрый час начать!

Наутро Дорофей еще спал, когда двери сennого сарая с визгом растворились и внизу раздался голос:

– Вставай, Дорофей!

– Что так рано?

– Да я совсем собрался... Прощай!

Дорофей, весь в сене, скатился и с изумлением сказал:

– Как так? Да неужто ты так вот сегодня и в путь?

– Сегодня. Я еще вчера уж и у барыни был: прощался; письмо дала...

– Вишь, сердечному не терпится! Смотри, брат, коли так, так знатно! а коли чуть что не заладится, поезжай сюда. Здесь найдем дело.

– Ладно, увидим...

Братья выпили, закусили, покалякали, поцеловались, причем несколько стебельков сена из бороды Дорофея осталось на лице камердинера, и отправились в ближайший город. Там они опять выпили и покалякали, поцеловались, поплакали и разошлись в разные стороны...

С тех пор они не видались. Бывший камердинер женился в Петербурге, жил бедно, сначала писал к брату, потом вдруг писать перестал, и, наконец, Дорофей получил известие, что он умер. Дорофея ждала другая карьера: малый сметливый, грамотей, деятельный, обуреваемый беспокойным духом стяжания, он скоро почувствовал надобность преобразовать свою бороду из кучерской в купеческую, для чего укоротил ее в длину и увеличил в ширину, округлив и расчесав на две стороны. Сначала разъезжал он из села в село с пряниками, рожками, тесемками, бисером, мылом, иголками и даже книгами, занимаясь в то же время не без выгоды лечением лошадей – искусство, в котором изощрился еще в кучерской должности. В ту эпоху к имени его Дорофей стали прибавлять: Степаныч. Потом открыл он в городе Шумилове постоянную лавочку, в которой висело десятка три хомутов, гужи, веревки, шлеи, уздечки, чересседельники, подпруги, попоны, причем на вывеске к имени и отчеству прибавилось прозвание: Назаров. Определившись, таким образом, совершенно, он мало-помалу расширил круг торго-

вой своей деятельности и кончил тем, что чрез тридцать лет из пятисот рублей, завещанных ему барином, сделал он до двухсот тысяч.

Но за постоянными, судорожными хлопотами, вечно занятый своими оборотами, он не успел жениться, обзавестись семейством, и теперь на старости лет приходилось ему доживать век свой в совершенном одиночестве.

А здоровье его с каждым днем расстраивалось, и, наконец, старик слег и почувствовал, что уж ему не встать с постели.

Самым близким к нему человеком был в то время один молодой купец, который сначала служил у него приказчиком, а потом, сделав несколько счастливых спекуляций, записался в вильманстрандские купцы, завел собственную лавчонку и торговал в компании с прежним своим хозяином. Вильманстрандский купец не отличался качествами слишком привлекательными; но привычка и одиночество сильно привязали к нему Назарова, и ему-то довелось выслушать последнюю волю и принять последний вздох старика.

В комнате с закрытыми ставнями, правый угол которой весь заставлен был образами, освещенными лампадой, медленно угасал старый купец, мучимый жестокой одышкой, захватывавшей его дыхание и грозившей с минуты на минуту прекратить его дни.

Уже пятый день молодой купец не отходил от его постели, подносил ему лекарство, поправлял подушки и читал св. писание, о чем просил старик всякий раз, как чувствовал малейшее облегчение.

Старик был огромного роста, и его крепкие мускулы, резко обозначившиеся на худом, измученном лице показывали, что смерть одерживала здесь нелегкую победу.

Он громко охал, крестясь дрожащей рукой, призывая имя божие и повторяя невнятным голосом все знакомые ему тексты св. писания. Вильманстрандский купец сидел против него, пересиливая дремоту, которая после многих бессонных ночей упорно смыкала его глаза.

– Слушай, молодец! – начал старик слабым, удушливым голосом, приподнявшись на своей постели и показав широкую и худую обнаженную грудь, на которую в беспорядке падала его белая, как снег, длинная борода. – Недолго мне остается жить. Я все поджидал, думал, вот отойдет; но, видно, господя я прогневил свыше его милосердия... час мой настал! Выслушай же мою последнюю волю и сверши за меня, чего не успел я, многогрешный...

Сонливость молодого человека в минуту прошла. Он весь встрепенулся при последних словах старика и жадно наклонился к нему, будто бы страхась проронить слово.

Но старик захохотал, закашлялся, и нетерпеливое волнение пробежало по лицу молодого человека. Собравшись с силами, старик продолжал:

– У меня был брат...

– Но ведь, он умер? – быстро перебил молодой человек.

– Умер, в Питере (царство ему небесное!)... После брата осталась жена.

– Да ведь и она тоже умерла? – перебил опять Вильманстрандский купец.

– Умерла, – отвечал старик, – тоже умерла (и ей царство небесное, хоть она и не православная была, прости ее господи!). Но после них осталась...

По лицу слушателя пробежало живейшее беспокойство. Он удвоил внимание; но старик закашлялся.

– Кто же остался после них? – нетерпеливо спросил молодой купец.

– После них осталась дочь, – твердо произнес старик.

Вильманстрандский купец побледнел, как смерть.

– Как? – вырвалось у него: – вы мне никогда не говорили, что у вас есть наследники!

– Незачем было говорить! – строго отвечал старик.

Молодой человек спохватился.

– Что ж она, в каком положении? – спросил он с участием: – жива она? замужем? дети есть?

– Ничего не знаю! – отвечал старик: – может жива, а может нет...

Вильманstrandский купец вздохнул свободнее.

– Грешный человек, вишь ты, не ладил я с покойником; да и он-то неправ: женился на чухонке: прости ему господи! иноверицу взял – ни совета, ни просьбы моей не послушал... Господь, видно, за то и не благословил его; уж перед смертью письмо пришло от него: прости, говорит, умирающему, призри вдову, – в бедности покидаю... После уж и вдова писала ко мне. Я было и хотел помочь от избытков моих, да, грешный человек, сегодня да завтра, так вот и до смертного часа не собрался... А тут недавно получил стороной весть, что и вдова-то умерла... Осталась ли нет в живых одна сирота, племянница... Грех на мою душу падет, коли она погибнет в нужде... не хочу брать лишнего греха на душу...

Продолжительный монолог утомил старика. Он опустил на подушку, закрыл глаза, и только громкое и редкое дыхание, мерно раздававшееся в могильной тишине комнаты, свидетельствовало, что в нем еще не угасла жизнь.

Лицо вильманstrandского купца также было по-своему страшно: досада, гнев, бешенство, отчаяние выражались на нем резкими чертами. Он кусал свои губы, устремив неподвижный пронизательный взор на полумертвого старика и будто вызывая его на бой...

Но старик вдруг открыл глаза, – молодой человек поспешил придать своему лицу почтительное и грустное выражение и тихо, вкрадчивым голосом спросил:

– Что ж думаете вы делать, Дорофей Степаныч?

– Осчастливить сироту, коли бог по милости своей попустит мне, окаянному, загладить мои великие прегрешения... Других родных у меня никого нет... мне свое добро не в могилу с собой унести...

– Так вы хотите сделать ее своей наследницей?

– Что ты, парень, как кричишь? – слабо перебил старик: – просто испугал меня... о-ох!

И старик закашлялся. Вильманstrandский купец прошелся по комнате.

– А ты слушай, – начал старик, – легко сказать: сделай наследницей! Да где теперь ее сыщут? как наследство-то до нее дойдет?... Родилась, живет в бедности... поди и грамоте-то не знает. В газетах припечатают; да где ей газеты смотреть? Сроки пропустит...

Старик замолчал. Лампада бросала слабый, дрожащий свет на его бледное, худое лицо, которое теперь приняло неподвижность смерти. С испугом и мучительным нетерпением ждал молодой человек, когда старик снова соберется с силами.

Наконец умирающий открыл глаза, приподнялся и продолжал:

– Так вот, видишь, что я придумал слабым моим разумом, прости меня господи! Сослужи мне службу, друг! Господь тебя не забудет.

– Я все готов сделать для моего благодетеля, для моего второго отца...

– Да и я тебя не обижу, друг, – не оставлю без награды твои сыновние попечения: лавка твоя, дом твой; я уж и дарственную запись приготовил.

– Благодетель! – воскликнул радостно вильманstrandский купец, стал на колени и поцеловал руку умирающего.

– Только ты верно сослужи мне службу, – продолжал старик: – тотчас, как господь бог сподобит мне преставиться, поезжай в Питер, отыщи племянницу и в собственные руки отдай ей духовную (она у меня уж заготовлена) и билеты здешнего Приказа...

– Именные?

– Именные, – отвечал старый купец, – да в духовной, понимаешь, прописано, что она моя наследница единственная, – так, дело видимое, ей после меня и выдача следует...

– Так, – сказал молодой человек, – а сколько тысяч по всем билетам приходится?

– Сто шестьдесят пять, – глухо проговорил старик.

– Сто шестьдесят пять тысяч! – воскликнул вильманstrandский купец с отчаянием. – Ну, будет добром поминать благодетеля! – поправился он, обратив к умирающему светлый

и добродушный взор; но, увидав, что глаза старика сомкнуты, вильманstrandский купец дал волю своим чувствам, и глаза его засверкали отчаянием и злобой.

Пока старик охал и кашлял, творя крестное знамение и шепча молитву, много тревожных ощущений пронеслось по лицу молодого человека. Наконец оно несколько успокоилось, даже радостное чувство мелькнуло в нем на минуту, и молодой человек нетерпеливо, но осторожно прошептал:

– Дорофей Степаныч! а сколько лет примерно теперь вашей племяннице?

– Да, надо быть, не то восемнадцать, не то девятнадцать, – отвечал старик. – О-ох! как-то она, сердечная, там теперь мается, без отца, без матери, – продолжал старик, останавливаясь на каждом слове, – поди, голодна и холодна, на тяжелой работе убивается... Кто пригреет сироту, кто за нее заступится?.. Кому заступиться, коли дядя родной отступился?.. Отступился, окаянный, от сироты, родной племянницы, – заключил старик, нечаянно возвысив голос, принявший вдруг грозное и торжественное выражение, – господь бог отступится от него, окаянного!

С последним словом старик громко зарыдал. «Уж не кончается ли он?» – подумал с испугом молодой купец.

– Дорофей Степаныч! – шепнул он, – нагнувшись к рыдающему старику, – а, Дорофей Степаныч!

Старик продолжал рыдать, но рыдания его становились все тише и тише; казалось, звуки замирали в его груди, напрасно сился вырваться на свободу, и только отголоски их раздавались в комнате. Наконец старик совсем смолк, и только судорожное подергивание лица показывало, что пароксизм еще не кончился.

– Дорофей Степаныч! – повторил тихо молодой человек.

Старик зашевелил губами, но они не издали звука. Он делал страшные усилия, но голос не повиновался ему.

Вильманstrandский купец с ужасом увидел, что старик лишился языка.

Прошло часа два. В продолжение их старик несколько раз делал усилие заговорить, и всякий раз с надеждой и мучительным страхом наклонялся к нему молодой человек; но усилия старика были напрасны.

Ему становилось всё хуже и хуже. Наконец он поманил к себе молодого человека, благословил его и показал ему на свою подушку. Догадавшись, в чем дело, молодой купец засунул руку под подушку и достал оттуда пакет. Старик развернул его дрожащими руками; там было два листа с гербовыми печатями, четко исписанные, и несколько билетов. Умирающий поодиночке показал молодому купцу билеты и документы, делая при каждом толкование без слов, потом снова вложил все в пакет и с благословением передал своему душеприказчику. К утру старик умер...

Весна, четвертый час пополудни. Солнце ярко блестит на Невском проспекте; по тротуарам с журчаньем бегут ручьи, стекающие из труб; монотонно и мерно, с глухим шумом падают крупные капли с страшной высоты. Снегу нет, грязный песок, взбороненный беспрепятственной ездой, лежит мрачными массами в тени, солнечная сторона улицы прихотливо испещрена озерами, по которым местами образовались острова. Вся широкая улица загромождена экипажами, представляющими по странной смеси своей разнообразное и оригинальное зрелище. Чуть виднеются низкие санки, с глухим стуком обрушиваясь в рытвины, и то плывут по воде, то визжат пронзительно, прорезывая камни полозьями; высоко поднимаются и гремят колесами кареты и коляски, сильно раскачиваясь. Тротуары еще оживленнее; народу множество; даже собаки все до одной высыпали из своих домов и снуют под ногами гуляющих; и каких тут нет собак! и маленькие, и большие, и мохнатые, и голые – синие с лоском, как бритва, которою их выбрили, – и пестрые, и коричневые, и черные, и совсем белые; словом, нигде нельзя увидеть такого множества разнороднейших собак, как в ясный весенний день на

Невском проспекте. Гуляющие раскланиваются, сталкиваются, извиняются и обмениваются выразительными взглядами, сердятся...

– Ах! – обиженным тоном вскрикивает пожилая дама, идущая под руку с румяным кавалером.

Румяный кавалер не хочет понять, что толкнуть в тесноте нечаянно – дело очень естественное; в его голове тотчас составляется страшная драма. Смерив грозным взглядом неловкого господина, впрочем совершенно невинного, – платье дамы так длинно, что само подвертывается под ноги, – он восклицает:

– Милостивый государь! вы наступили моей даме на платье!

– Извините, я нечаянно!

– Как нечаянно?..

И румяный кавалер, стукнув палкой, вместо тротуара, по ноге своей даме и позабыв извиниться, сердито продолжает путь. Он чувствует себя глубоко обиженным и долго ворчит: «Как можно такому множеству народа ходить по одной стороне?.. а все оттого, что везде черный народ!» И если в ту минуту не встретится ему ни один мужик, он все-таки останется при своем мнении...

Сколько в такие дни погибает дорогих и прекрасных платьев!

С гордой беспечностью подметает разряженная дама своим длинным платьем грязную улицу, будто величаясь пренебрежением к нему и всенародно показывая, что ей ничего не стоит испортить такое дорогое платье. Положим, она в состоянии купить дюжину таких платьев, а ножки? Мокрые ботинки безобразно раздулись, и бедные ножки, иногда в сущности очень хорошенькие, изредка появляясь, производят впечатление убийственное. С ужасом смотрят порядочные люди на гордо выступающую даму; но она приписывает их взгляды своей красоте, своей богатой шляпке с пером и бросает с своей стороны язвительные взоры на тех дам, которые, грациозно приподняв платье, осторожно переходят грязь и доставляют случай увидеть свои маленькие ножки, со вкусом обутые...

Но пускай себе ходят и одеваются, как хотят, богатые дамы.

В толпе, переходящей улицу от Гостиного двора, видим мы бедную девушку, в синей шляпке и синем салопе, с небольшим свертком. Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерские тележки тащатся и летят своим порядком, брызгая грязью; но храбрейшие пешеходы отважно мелькают между лошадьми, не смущаясь потрясающими криками кучеров. Соскучась выждать, девушка тоже пустилась вперед; за ней последовал высокий господин, с лицом зверски-мрачным, но полным и краснощеким, которому – дело ясное – судьба предназначала выражать ощущения, не столь свирепые.

Вдруг раздался, женский визг, слившийся с криком: «пади, пади!» Проворно перебежав улицу, девушка с любопытством оглянулась: высокий господин, как ошеломленный, стоял среди глубокой лужи и трагическим взором следил – очевидно, за ней; парные сани чуть не задели его, но кучер ловко свернул в сторону и только обдал его с ног до головы грязью... Девушка пошла своей дорогой. Мрачный господин перебежал улицу, вытерся, отряхнул грязные сапоги и пустился преследовать синюю шляпку, сбивая с ног встречных. Девушка, по видимому, ничего не подозревала: она шла то скоро, то останавливалась перед окнами богатых магазинов, или, пораженная гордо выступавшей дамой, завистливо осматривала ее платье. Наконец, перейдя Аничкин мост, она проворно скрылась в воротах одного дома, в нижних окнах которого виднелись шляпки, чепчики и наколки. Мрачный господин долго любовался ими, прохаживаясь мимо, наконец занес ногу на крыльцо магазина, но вдруг раздумал – и пошел в трактир, напротив. И скоро в форточке явилась его мрачная, тщательно причесанная голова, с глазами, устремленными на окна магазина...

Мрачный господин часто провожал девушку; но она не замечала его: он всегда держался в почтительном отдалении.

Раз вечером, когда легкий мороз высушил тротуары и затянул, точно слюдой, лужи, та же девушка в той же самой шляпке вышла из ворот, с маленькой корзинкой. Высокий господин как из земли вырос и пошел за ней. Девушка очень спешила, опасаясь скорых сумерек. Мрачный господин долго держался, по своему обыкновению, в почтительном отдалении, наконец вдруг поравнялся с ней и пошел рядом. Он два раза раскрывал рот, но, видно, слова не шли с языка, и он ограничивался выразительным покашливанием. Привыкшая к таким любезностям уличных гуляк, девушка насмешливо улыбалась и прибавляла шагу...

– Вы куда-то спешите? – проговорил, наконец, мрачный господин нетвердым голосом.

Она молчала и шла дальше.

– Позвольте мне вас проводить, сударыня.

Не взглянув ему в лицо, девушка отвечала обиженным тоном:

– Вы, кажется, уж и без позволения провожаете...

– Я-с? помилуйте!..

Мрачный господин смешался. С минуту он шел молча, потом произнес с расстановкой, будто рассуждая с самим собой:

– Какая приятная погода – подмораживает! Утром было очень грязно... Я вас имел счастье видеть сегодня, сударыня.

– Ах, боже мой! – воскликнула девушка и, дернув плечом, отвернулась.

– Я вас давно знаю! – воскликнул мрачный господин отчаянным голосом. – Вчера вы изволили ходить в Гостиный двор, третьего дня – на Адмиралтейскую площадь, четвертого – в Гороховую. Видите, я все знаю, все!..

Вспыхнув краской удовольствия – за ней еще никто так усердно не ухаживал, – девушка уже не так резко спросила:

– Да почему вы меня знаете?

– Я почему вас знаю, сударыня... я?!..

– Да, вы, почему?

– Я изумлен, очарован, околдован, прикован, сударыня, вашей красотой, я...

– Вот глупости какие, – возразила девушка и сердито перешла улицу.

Точно особенной красоты в ней не было; но она была молода и свежа; добрые голубые глаза, приятная улыбка, веселое и беспечное выражение лица – все вместе придавало ей много привлекательности. Одетая она была довольно бедно, но опрятно.

– Я вас не оставлю! – кричал, перебегая за ней дорогу, высокий господин. – Я должен с вами объясниться!

– Что вы так пристали ко мне? – сказала девушка с притворным гневом, которому противоречило ее лицо.

– Сударыня, выслушайте меня!

– Я и так вас много слушала.

– Где я могу вас видеть, чтобы с вами переговорить?

– Нигде!

– Вы далеко идете теперь?

– А вам на что?

– Ах, скажите!

– Не скажу! – поддразнивая, отвечала девушка.

– О, жестокосердная! – воскликнул мрачный господин трагическим тоном.

Девушка рассмеялась.

– Чему вы смеетесь?

– Оттого, что мне смешно.

– Верно, надо мной?

– Может быть.

– Вам меня не жаль?

– Нисколько. Я вас совсем не знаю. Прощайте!

И девушка побежала в ворота многоэтажного дома.

– Вы скоро выйдете? – закричал ей вслед высокий господин.

Девушка приостановилась.

– Я здесь живу, – отвечала она.

– Неправда! вы живете за Аничкиным мостом, в доме купчихи Недоверзевой.

– А вы почему знаете? – с удивлением спросила девушка.

– Я?.. я знаю все, что до вас касается...

– Воображаю!

– Я знаю, что ваша мадам очень сердита... Как вас зовут?..

– Как? ну! скажите?

Мрачный господин немного подумал и отвечал сладким голосом:

– Прелестное создание!

– А вот и не знаете! Прощайте!

Девушка с хохотом убежала. Проводив ее глазами, мрачный господин остался у ворот. Он вынул из кармана щеточку с зеркальцем и, полюбовавшись собой, пригладил свою голову, завитую мелкими колечками и сильно напомаженную; потом обдернул свой новый вычурный пальто цвета леопардовой шкуры, провел рукавом по шляпе, и без того лоснившейся, и надел ее набекрень... Но вдруг лицо его, сиявшее самодовольствием, омрачилось заботой. Он бегом пустился по улице, толкая прохожих.

Девушка скоро явилась, уже без картонки, и, не застав высокого господина на прежнем месте, нахмурилась, осмотрелась, кругом и тихо пошла домой. Через минуту она услышала за собой скорые шаги и тяжелое дыхание. Лицо ее прояснилось; она ускорила походку, потом вдруг обернулась и вскрикнула, будто с досадой и удивлением: «ах!»

Мрачный господин, задыхаясь, показал ей пеструю бонбоньерку.

– Позвольте мне вам...

– С чего вы это взяли? – обиженным тоном возразила девушка.

– Я с благородным намерением, сударыня! – отвечал он скороговоркой.

– Помилуйте, я вас совсем не знаю! – сказала девушка несколько мягче.

– Что же такое, сударыня? когда человек с благородным намерением дарит такую бездельцу, то...

– Я боюсь: мадам увидит. Вы сами сказали, что она сердитая.

– Вам нечего бояться, сударыня! я не то, что другие. Я, можно сказать, готов для вас на все!

Девушка покраснела.

– Воображаю!

– Да, сударыня; я прошу вас, доставьте мне случай говорить с вами...

– Как вам не стыдно! что вы ко мне пристали! – воскликнула девушка, серьезно обиженная, и, перебежав улицу, скрылась в воротах дома купчихи Недоверзевой.

Скрестив руки и нахмурив брови, мрачно смотрел высокий господин на бежавшую.

Девушка вошла на темное крыльцо, отворила дверь и скоро достигла большой и мрачной комнаты, выходившей окнами на маленький двор, с огромной ямой и множеством навесов, обнесенный бесконечно высокой стеной с бесчисленными окнами. Несмотря на холод, многие окна были открыты, как летом; перед ними работали мастеровые всех родов, с песнями, страшным стуком и криками. Стены дома были испещрены вывесками, а на лестницах красовались голубые руки с протянутым указательным пальцем, не приносящим, впрочем, никакой пользы: приходивший со свету на темную лестницу ничего не видал и должен был стучаться в первую дверь, чтоб навести справку.

Поперек комнаты, куда вошла девушка, тянулся бесконечный некрашенный стол, загроможденный лоскутками и картонными болванами, беспощадно истыканными; ножницы поминутно стучали по столу. Пол комнаты был усеян обрезками, стены увешаны неоконченными платьями и салопами.

За большой стол сидело восемь девочек, предводительствуемых пожилой швеей, с рябым, некрасивым лицом. Перед другим, небольшим столиком, у окна, сидел мужчина лет пятидесяти, с пухлым и бледным лицом. Его огромные мутно-черные глаза, с выражением бесконечной глупости, были полужакрыты, как сонные, и только изредка раскрывались совершенно. Но и полуоткрытые и вытаращенные, они неподвижно были устремлены на одну девочку лет четырнадцати, которая помрачала всех остальных своим хорошеньким личиком и называлась (конечно, в насмешку) «красавицей». Одежда пухлого господина была оригинальна: желтые брюки, желтая курточка и розовый платочек, повязанный с таким совершенством, что уже не казалось странным видеть между его коленами картонного болвана, с глазами, оживленными не меньше его собственных. На болване торчал кружевной чепчик, и господин в желтых брюках с большою грациею украшал его лентами. Рядом с ним сидела женщина, толстая, с волосами почти белыми, с лицом сморщенным и серыми глазами, необыкновенно живыми. То была мадам Беш, содержательница магазина и супруга господина Беша, накалывающего банты. Она считала вслух, с чухонским произношением, петли, крючки и пуговицы, когда вошла девушка в синей шляпке. Мадам встретила ее крикливым вопросом:

– Что долго хадиль?

– Не близко посылали! – отвечала девушка. – Вот деньги за чепчик.

Мадам приняла деньги и, считая их, протяжно спросила:

– Гу-ля-ла, а?

– Каролинхен! – нежно пропищал супруг, любуясь оконченным чепчиком.

– Ах, сбиваешь! – сердито крикнула мадам и продолжала считать: – раз рубль, два рубль...

– Каролинхен! хорош ли так? понравится ли их превосходительству?

Господин Беш тоже нечисто говорил по-русски.

Каролинхен с нахмуренными бровями осмотрела чепчик, сосчитала банты, которых оказалось с десяток, и повелительно сказала:

– Мало бант!

– Легче будет.

– Мало бант! – резко повторила супруга.

Вдруг раздался пронзительный звон колокольчика. Хозяйка, оправившись, кинулась в стеклянные двери с зеленой тафтой, а супруг вытаращил Сонные глаза на «красавицу», которая проворно шила. К ней подседа девушка, уже известная нам, казавшаяся без шляпки гораздо красивее: густые белокурые волосы делали личико ее еще свежее.

– А что? – тихо шепнула она своей соседке: – рябая не бегала под ворота?

– Нет, она кроила, а мадам сердилась.

– Пусть сердится! А меня сегодня какой-то господин провожал; так пристал ко мне!

– Вчерашний?

– Нет; должно быть, богатый: конфет мне купил.

– Ах, не увидели бы!.. где они?

– Нет, я их не взяла.

Лицо мадам Беш показалось в дверях; она кликнула белокурую девушку.

Как только белокурая девушка, приглаживая волосы, скрылась, господин Беш поставил своего болвана, подошел к «красавице» и с словом: «держите» грациозно надел ей на руки моточек шелку. Затем с невыразимо сладкой улыбкой он все подвигался к ней и, наконец, подвинулся так, что девушка невольно отшатнулась; шелк спутался.

- Ах, какой неосторожна! – сердито воскликнул господин Беш.
- Хорошенько ее, Эдуард Карлыч! – злобно проговорила рябая швея.

Господин Беш медленно возвратился на прежнее место к столику и поманил девушку; но, видя, что она не движется, он крикнул: «Подить суда!»

«Красавица» повиновалась, но страшно покраснела: подружки ее перешептывались и двусмысленно улыбались; а рябая швея прошипела вслед ей: «Мотайте! мотайте! вот я мадаме скажу!..»

«Красавица» стояла перед господином Бешем; господин Беш мотал шелк и поминутно распутывал узлы, причем так близко наклонялся губами к рукам девушки, что она чуть не плакала и пятилась прочь; но господин Беш поминутно притягивал ее к себе...

Насмешки подруг становились все громче. Бедная девушка, красная, с заплаканными глазами, стояла ни жива, ни мертва...

Дверь с тафтяной занавеской скрипнула: вошла мадам Беш. Господин Беш стремительно схватил и поставил на колени картонного болвана, будто эмблему своей невинности; а может быть, он надеялся найти в нем защиту против гнева супруги. С мотком в руках «красавица» осталась на прежнем месте.

Окинув испытующим взором сначала господина Беша – с ног до головы, – потом «красавицу», мадам Беш резко скомандовала: «На место!» Девушка с радостью повиновалась. Рябая швея строго погрозила ей пальцем.

Каролинхен горячо заговорила по-немецки, и тоже нечисто. Супруг, потупив голову, слушал молча и собирал рюш. Ссору покончила вошедшая белокурая девушка, которая сказала: «Вот задаток оставили» и подала гневной супруге красненькую. Потом она села на прежнее место и осторожно шепнула своей взволнованной соседке:

- Что, видно, опять к тебе приставали?
- Тише: рябая слушает! – отвечала «красавица», нагнувшись, и будто поднимая лоскуток.

Они замолчали; но лицо белокурой девушки выражало сильное волнение: видно было, что мучит ее желание сообщить подруге важную тайну. Наконец, улучив минуту, она шепнула соседке: «Знаешь ли, кто был?.. он!»

- Ах, а мадам?
- Ничего; она скоро ушла, а мне приказала хорошенько понять, какого ему чепчика хочется.

- Ножницы! – неожиданно крикнула рябая швея и тем положила конец разговору.

Мрачный господин целые дни проводил на тротуаре; каждый раз, когда белокурая девушка выходила со двора, они встречались, как знакомые. Если с ней был узел, он нес за нее, и всю дорогу они горячо толковали.

Случалось, она выходила к воротам, – мрачный господин непременно торчал тут; они менялись короткими словами, и девушка поспешно убегала.

Раз, в воскресенье, она шла с ним под руку, у Большого театра. Он уговорил ее войти в кондитерскую и самым отчаянным голосом приказал подать шоколаду, кофе, мороженого, конфет, пирожков – всего...

- Осчастливьте: скушайте! – говорил он девушке.
- Уж довольно; благодарю; мне ничего не хочется.
- Пить вам не угодно ли? Эй, оршаду! лимонаду! – кричал он в дверь. – Живее, живее!
- Не надо, не надо! право, я ничего не хочу.
- Отчего же вы ничего не желаете? Осчастливьте: скушайте! А вашу приятельницу не пустили сегодня?

– Да Эдуард Карлыч ушел со двора, а уж мадам тогда ее не пускает... А все рябая ей наговаривает. Он прежде за ней ухаживал, а теперь все к нам пристаёт; так вот ей и досадно...

Девушка остановилась, услышав в соседней комнате звон колокольчика и мужской голос, требующий рижского бальзама.

– Ах, кто-то пришел! – прошептала она с испугом, доказывавшим, что она в первый раз в кондитерской.

– Не беспокойтесь: никто сюда не войдет.

– Я боюсь, чтоб рябая не пришла! у ней тут близко родные живут. Ах, как она нам надоела: каждый день у меня ссора то с мадамой, то с Эдуардом Карлычем; а все она...

– Вот видите, – с упреком заметил мрачный господин, – а вы не согласны!

– Как можно? я бедная! у меня ничего нет, никого родных нет... как можно!

Девушка заплакала.

Мрачный господин прошелся по комнате, принял перед зеркалом трагическую мину и произнес глухим голосом:

– Я говорил вам, что я с благородным намерением: я прошу вашей руки!!!

– Я бедная! – рыдая, возразила девушка.

– Зато я богат... Что золото, когда тут любовь... любовь! – повторил громогласно высокий господин. – А я вас люблю, обожаю, боготворю-с. Мне ничего не надо, кроме вашей руки, царица души моей!

– Не могу же я оставить одну свою сестру...

– Какую сестру?

– Так я подругу свою называю. Ее, бедную, там заедят!

– Она может переехать к вам...

– Ах, в самом деле! – живо воскликнула девушка; лицо ее прояснилось, и она с такой благодарностью посмотрела на мрачного господина, что он смутился и стал поправлять свои завитые волосы.

– Право, не знаю, как вас благодарить, – сказала тронутая девушка. – Вы так добры, что, верно, не обманете бедную...

Мрачный господин прервал ее страшными клятвами.

– Я вас люблю, сударыня, люблю с благородным намерением, – повторял он, – и если вы согласны, так хоть завтра же переезжайте на мою квартиру с вашей подругой... Я все приготовлю.

– Как можно! я к вам не поеду!

– Ведь вы будете там одни, а я поживу в другой квартире... Не верите мне, так, пожалуй, в тот же день обручимся, свидетели будут и нас окликнут... Согласитесь, осчастливьте!..

Мрачный господин пал на колени и продекламировал с приличными жестами:

Когда с тобой – нет меры счастья,
Вдали – несчастен и убит;
И, словно волк голодной пастью,
Тоска пожрать меня грозит!
Куда ни обращаю взоры, –

(Мрачный господин приостановился, окинул глазами кондитерскую и продолжал:)

Долины, облака и горы –
Все говорит: «Люби! люби!»
Во цвете лет – не погуби!
Не наноси смертельной раны,
Не откажи моей мольбе...
Пусть лучше растерзают враны

И сердце принесут к тебе!..

Он посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом: по щекам ее медленно катились слезы; только страх быть обманутой удерживал ее дать немедленно согласие.

– Хорошо, – сказала она. – Завтра я вышлю вам письмо с дворником.

– Ответ будет решительный? – торжественно спросил мрачный господин, вставая.

– Да.

– Извольте, я на все готов! Если не любите, напишите (он сделал трагический жест), я сумею прекратить свои дни!..

– Что вы говорите! – воскликнула девушка, бледнея. С ужасом взглянула она в его лицо, которое было зверски-мрачно, как в тот день, когда он в первый раз провожал девушку, и тихо прибавила: – Я вам лучше теперь скажу все, все... я... я, вас люблю...

В самом деле, романические выходки, постоянные угождения, стихи, брак все так вскружило, ей голову, что она почувствовала себя тоже до безумия влюбленною.

– О, я счастливейший смертный! – восторженно воскликнул мрачный господин.

Она упростила его подождать еще неделю и собралась домой.

– Эй, два фунта конфет, самых лучших! – крикнул мрачный господин.

– Нет, не нужно!

– Для вашей приятельницы... примите...

Воротившись домой, белокурая девушка пересказала все своей приятельнице и дала ей конфеты. Любуясь ими, «красавица» наивно спросила:

– Отчего ты не хочешь скорей согласиться? он тебя так любит! посмотри, какая чудесная корзинка.

– Какая ты глупая! ну, как он меня обманет? Помнишь Соню? опять пришла к мадаме, а та как ее бранила, прогнала... Говорят, она умерла в больнице...

– Неужли?

И обе девушки побледнели.

– Да, страшно; но ведь он не такой; ты сама говорила, что он готов хоть сейчас обручиться...

– Говорил-то много; я знаю, что он меня любит... Ну, а как он бедный: что я тогда буду делать?

– Работать, как теперь.

– В магазин замужнюю не возьмут, а на дому немного наработаешь с хозяйством.

– А как бы мы хорошо жили вместе! мадам как бы разозлилась! а рябая! ха, ха, ха!

И лицо девушки зарделось краской удовольствия; долго она мечтала о счастье жить свободно...

Воскресенье. Рабочая комната выметена, длинный стол пуст; только две девицы гадают на нем. Другие девицы, принарядившись, вертятся у ворот и любезничают с мастеровыми и лакеями; а предпочитающие покой спят на своих сундуках, которые служат им постелью.

Белокурая девушка сидит с своей приятельницей на окне магазина, нетерпеливо поджидая, когда пройдет мрачный господин. А между тем над головами их готова разразиться страшная буря.

Рябая швея, давно наблюдавшая за ними, раз увидела у «красавицы» конфетную бумажку и донесла мадам Беш, что господин Беш дарит «красавице» конфеты. В порыве безграничной ревности мадам Беш кинулась к сундуку «красавицы», взломала могучими своими руками замок – и в ужасе отступила: в сундуке оказалось множество конфет.

Всплеснув руками, мадам Беш выбежала вон и скоро воротилась, таща к сундуку сонного господина Беша, который только что улегся было в большую, мягкую кровать.

– Кто купил? а? – грозно спросила она:

Супруг наивно посмотрел на красивые конфеты, на жену, опять на конфеты и бессмысленно покачал головой.

– Ага! мой все знает! – вскрикнула мадам Беш, и град, немецких ругательств с примесью чухонских посыпался на глупую голову господина Беша. Взгляд оскорбленной супруги был злобен, движения грозны, голос все повышался...

А рябая швея побежала в магазин, где сидели наши приятельницы, и с озабоченным видом сказала:

– Подите-ка! у вас мадам в сундуках шарит!

Встревоженные девушки кинулись в швейную и увидели страшную картину: разъяренная мадам Беш, покрытая красными пятнами, держала у самого носа господина Беша горсть конфет и, притоптывая ногой, повторяла:

«Woher, woher?..»⁴

Супруг же, в одном жилете и парике, немного сбитом на сторону, стоял перед ней с довольно спокойным и неизменно глупым лицом.

Увидав «красавицу», мадам Беш страшно вскрикнула: «А-а! вот она...» и, подняв кулаки, кинулась к ней. «Красавица» спряталась за свою подругу, которая повелительно спросила:

– Что вы хотите делать? разве она украла у вас что-нибудь?

– Я ее высеку, я ее высеку на съезжей! – кричала мадам Беш.

– За что?

– За что... за что... зачем гуляет с мой муж... да, не смей гулять! я и его выс... жаловаться буду! «Красавица» дрожала и плакала.

– Не плачь: я не дам тебя сечь! – твердо сказала ей подруга.

– Как ты смеешь говорить, что не дашь? она виновата!

– Неправда! конфеты дала ей я... и у меня такие же есть!

Заступница вынула из кармана своего передника несколько конфет и показала их ревнивой супруге.

Но разгоряченная мадам Беш не только не успокоилась, напротив – пришла в сильнейшую ярость, как тигр при виде крови: ей представилось, что господин Беш имел основательные причины дарить конфетами всех швей. Крики и слезы продолжались долго. Только к концу сцены господин Беш понял, в чем дело; душевно обрадовавшись, он попробовал защищаться, но голос его замер в криках супруги...

Вечером рябая швея с торжеством глядела на сборы двух девушек и радостно повторяла: «Ага! выжила-таки вас. Вот, подите поголодайте-ка!..» Ломовой извозчик вывез из ворот небольшую поклажу; за ним, на дрожках, выехали подруги, с огромными узлами.

Через неделю мрачный господин обвенчался с белокурой девушкой. Свадьба была великолепная.

– Поздравляю вас, Надежда Сергеевна, и вас, Василий Матвеевич! – говорили один за другим многочисленные гости, встречая молодых.

– Вот бы теперь, – шепнул новобрачному, чокаясь с ним, один толстый гость, по всем признакам актер, – хватить те стихи, что... помните... ха, ха, ха!..

– Ну, теперь справимся и без стихов! – самодовольно отвечал Кирпичов. – Полинька! мы теперь никогда не расстанемся, – говорила Надежда Сергеевна, целуя свою молоденькую подругу. – О, я счастлива!

Кирпичов обходился с своей женой нежно и внимательно. Неделя прошла в полном счастье. Раз, когда Надежда Сергеевна сидела с Полинькой за чайным столом, вбежал Кирпичов и восторженным голосом закричал:

⁴ Откуда?

– Радость! радость!

– Что такое?

– Ты наследница... у тебя был дядя в Шумилове, Дорофей Степаныч... он умер и оставил тебе капитал... вот завешание и билеты... приехал оттуда один мой знакомый купец и привез...

Радость Надежды Сергеевны была неопианная.

– Я теперь могу отплатить тебе за все, – сказала она своему мужу. – Я богата; и все мои деньги принадлежат тебе.

Она дала мужу доверенность на получение своего капитала из Шумиловского приказа Общественного призрения, и Кирпичов уехал...

Получив деньги, Кирпичов продал также шорную лавку и дом, оставленные ему, как известно было всем жителям того города, покойным купцом Назаровым, который, умирая, сделал его своим душеприказчиком.

Воротился к жене Кирпичов совсем другим человеком. Начались беспрестанные домашние сцены, которые убедили Полинку, что ей неловко оставаться в его доме; приятельницы заплакали и расстались. Захватив в руки состояние жены, Кирпичов открыл книжный магазин... Но мы еще к нему воротимся.

Глава VI Горбун

Часов в девять утра Полинька оделась, завязала в узелок часы и ложки и вышла из дому. Миновав много населенных улиц и переулков, она пришла в переулок совершенно пустой, немощеный и незастроенный. По сторонам его тянулись ветхие, бесконечные заборы, то вогнутые, то выдававшиеся вперед; посредине стояли грязные пруды. Полинька прошла уже половину переулка, но не видала еще ни одного дома; ни людей, ни животных также не попадалось; только вороны и галки, тяжело взмахивая крыльями, перемещались с грязных луж на забор, причем Полинька каждый раз вздрагивала. Наконец однообразие забора нарушилось: показался деревянный дом с закрытыми ставнями, которые походили на заплаты. Черепичная крыша давила гнилое здание, бесконечно длинное. Ворота не было; заметив в заборе небольшую калитку, Полинька дернула за веревку, торчавшую у скобки; на дворе послышались звуки цепей; лай собак, отозвавшийся по всему пустынному переулку; но никто не являлся. Полинька снова дернула за веревку; опять лай и звон – и только. Полинька покраснела и нетерпеливо ударила маленькой своей ручкой в калитку.

– Кого те надо? – раздался хриплый голос.

Откуда? Полинька не могла решить. Казалось, он выходил из-под земли.

В сильном испуге Полинька вскрикнула и, бледная, как смерть, прислонилась к забору.

Подземный вопрос повторился. Она посмотрела с беспокойством по направлению хриплого голоса и увидела в отдушине, которая приходилась в уровень с землей, рыжую голову и улыбающееся лицо, все в коричневых веснушках, с огромным ртом и оскаленными зубами. Оно страшно щурило свои красные, слезливые глаза, пораженные светом.

– Здесь живет Борис Антоныч? – ласково спросила Полинька.

Но рыжая голова вдруг исчезла.

– Здесь, – отвечал другой голос, пискливый и протяжный.

Удивленная Полинька осмотрелась и нерешительно повторила:

– Здесь?

– Здесь.

– Можно его видеть?

– Не знаю! – пробасил третий голос, не похожий ни на первый, ни на второй.

Полинька совершенно потерялась.

– Кто-нибудь, – сказала она строго, – отворите калитку, не то я уйду: мне некогда.

– Сейчас, сейчас! – раздался старушечий голос с удушливым кашлем.

– Мне все равно, – возразила смущенная Полинька. – Кто-нибудь, – только скажите, можно ли видеть Бориса Антоныча?

Ответа нет. Полинька нагнулась взглянуть в отдушину, но отдушину уж заложена. Потеряв надежду добиться толку, Полинька решила вернуться домой, как вдруг к собачьему лаю присоединились дикие крики: «Атрешка!.. пес... эй; буйвол! в норы!..»

Человеческий голос обрадовал Полиньку. Цепи загремели, глухой лай сменился пронзительным визгом, потом все смолкло, и калитка, будто сама собой, растворилась. Полинька вошла на большой двор, обнесенный со всех сторон крепким забором с острыми железными зубцами. Все еще не видя никого, кроме собак, высунувших оскаленные морды из своих будок, Полинька долго осматривалась и, наконец, заглянула за калитку: она увидела притаившегося мальчишку лет тринадцати, низенького, но весьма плотного, в ситцевой женской кацавейке. Нечесанные рыжие волосы совершенно закрывали его лоб, отчего широкое лицо мальчишки казалось еще шире и безобразнее. Он самодовольно улыбался.

– Дома? можно видеть?

Мальчишка грязным пальцем указал на крыльцо.

– Туда надо итти? – спросила Полинька.

Он кивнул головой и стал запирать калитку. Полиньке сделалось страшно. Она вошла на крыльцо и опять спросила:

– Так я могу видеть Бориса Антоныча?

Мальчишка подошел к крыльцу, сильно хромая.

– Ты хромаешь?

Он жалобно посмотрел на нее и показал, что не может говорить.

– Кто же со мной говорил? – спросила удивленная Полинька.

Мальчишка замотал головой, отворил дверь и пошел вперед, маня за собой Полиньку. Они вошли в небольшую прихожую; мальчишка тщательно вытер об половик свои босые ноги и указал ей на дверь; но Полинька сначала с участием посмотрела на него и дала ему пятак. Обрадованный неожиданным подарком, мальчишка весь вспыхнул, начал ласково кивать головой и все указывал на дверь. Отворив ее и переступив порог, Полинька очутилась в комнате, длинной и низенькой, которая, несмотря на множество мебели, поражала пустотой. Огромные вазы, окутанные полотном, не гармонировали с маленькими соломенными стульями, плотно стоявшими по стенам непрерывными рядами; большое зеркало с вычурной рамой, не уставившееся в длину, висело поперек.

Низенькая, мрачная комната, пустой двор, глухой переулок, немой оборванный мальчик – все вместе навело на Полиньку страх. «Что, если у меня отнимут вещи? – подумала она. – Кто услышит мои крики в этом пустом доме?» И она прижала к сердцу свое сокровище и в страхе ждала нападения.

Вдруг кто-то кашлянул так близко, что можно было подозревать в комнате присутствие другого лица. Полинька еще сильнее испугалась; ноги у ней задрожали, она в изнеможении села. Послышались тихие шаги, и скоро отворилась маленькая дверь, не замеченная Полинькой.

Борис Антоныч будто вырос перед Полинькой из-под полу. Он был одет очень чисто, даже несколько изысканно. При дневном свете в лице его резко обозначалось множество мелких морщин; глаза, опущенные густыми ресницами, так же ярко блестели, как вчера вечером, когда Полинька увидела его в первый раз.

Полинька так обрадовалась появлению знакомого человека, что даже не заметила удивленного взгляда, брошенного на нее горбуном.

Они раскланялись очень вежливо.

– Извините меня... – начала она.

– Что вам угодно? – перебил он сухо. Полинька смутилась.

Заметив ее смущение, он повторил мягче:

– Что вам угодно?

– Я принесла вещи под залог, – отвечала ободренная Полинька.

Он слегка улыбнулся и посмотрел искоса на узелок, который держала Полинька.

– Какие вещи?

– Ложки и часы! – твердо отвечала Полинька.

Она начала развязывать узелок, но так торопливо и неосторожно, что все ее сокровище с звоном полетел на пол.

– Ах, что вы наделали! – воскликнул Борис Антоныч.

Он поднял часы, приложил к уху и радостно сказал: «Идут!», потом обратился к Полиньке.

– Ах, как вы испугались! – сказал он, любуясь бледным и прекрасным лицом девушки. – Хе, хе, хе!

Посмеявшись тихо и звонко, он круто спросил:

– Ну-с, так вы желаете денег займы?

– Да! – отвечала Полинька и нагнулась подбирать ложки.

– Не могу! – решительно отвечал Борис Антоныч, тоже нагибаясь, причем Полинька заметила горб между его плечами.

Отказ так поразил бедную девушку, что она лишилась голоса и удивленными глазами смотрела на согнувшегося горбуна, который, подбирая ложки, слегка кряхтел. Она быстро поднялась с колен, не заботясь больше о своих ложках, на которых за минуту основывала так много надежд. Горбун тоже поднялся и долго не спускал глаз с изумленного и печального личика девушки, которой все еще казалось невероятным, чтоб вещи, столь дорогие для нее, не имели цены в глазах других. Наконец, чтоб смягчить свой отказ, он сказал:

– Я даю только по знакомству или по дружбе.

– Я слышала... – робко начала Полинька.

– От кого вы слышали? – перебил, горбун, раскрыв шире свои большие глаза.

– ...что вы даете деньги, – продолжала Полинька.

– Мало ли что вы слышали! Точно, даю деньги, но только тем, кого знаю. И кто вам сказал, что я беру в залог вещи?

– Надежда Сергеевна Кирпичова.

Лицо горбуна немного передернулось. Взглянув исподлобья на Полиньку, он проговорил протяжно:

– Гм! так вы ее знаете?.. А супруга изволите также знать?

– Да, как же-с! – с улыбкой отвечала Полинька.

– Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? – вежливо спросил горбун, немного нагнувшись.

Полинька снова увидела горб.

– С... с Климовой! – весело отвечала Полинька.

– Имя и отчество?

– Палагея Ивановна.

– Вы замужем?

И горбун насторожил уши.

– Нет, – беззаботно отвечала Полинька.

Горбун пристально посмотрел на нее, будто желая удостовериться, правду ли она говорит.

– С папенькой или с маменькой изволите жить?

– Нет-с...

– Так, может быть, – перебил горбун, – с тетенькой?

– У меня никого нет родных, – грустно отвечала девушка.

– С кем же изволите жить?.. молодой девушке надо...

– Я живу одна, на своей квартире, и трудами достаю себе хлеб, – быстро возразила Полинька, опасаясь, чтоб он не сделал о ней невыгодного заключения.

– Так вы сирота круглая, можно сказать?

– Да, – со вздохом отвечала Полинька.

– Далеко изволите жить?

– Нет, близко, то есть... довольно далеко...

Во время разговора горбун так пронизательно смотрел на Полиньку, что она начинала уже чувствовать невольную неловкость и очень обрадовалась, когда горбун, наконец, спросил:

– А сколько вы желаете? я, знаете, обеднел немного в последнее время.

– Мне нужно двести пятьдесят рублей, – отвечала Полинька, краснея.

– Не могу такой суммы! – возразил горбун, но, увидев слезы, блеснувшие в глазах девушки, прибавил, не сводя с нее глаз: – вещиц-то маловато!

– У меня ничего больше нет! я все принесла! – отчаянным голосом отвечала Полинька.

– Нет ли еще чего? колечка? – с тихой усмешкой спросил горбун и, лукаво прищурился, посмотрел на тоненький пальчик девушки, украшенный колечком с небольшим опалом. Она быстро схватилась за свое колечко, будто испугавшись, чтоб у ней его не отняли, и долго и печально смотрела на него: слезы блеснули в ее черных продолговатых глазах... Горбун жадно наблюдал лицо девушки, беспрестанно менявшееся. Вдруг оно приняло выражение твердой решимости. Поспешно сняв шляпку, Полянька с удивительным проворством выдернула из ушей небольшие серьги, кинула их к ложкам и стала снимать кольцо, но так медленно, что, казалось у ней не доставало сил. Наконец кольцо было снято; Полянька поднесла его к губам, но, увидав язвительную улыбку горбуна, следившего за каждым ее движением, быстро переменяла намерение: не поцеловав дорогого колечка, она присоединила его к прочим вещам.

– Теперь я все отдала! – проговорила взволнованная девушка нетвердым голосом и закрыла лицо руками.

Горбун не обращал внимания на приращение вещей: он жадно смотрел на Поляньку, на ее черную роскошную косу, тяготившую, казалось, маленькую головку, на чудную шейку, которой белизну разительней оттеняли крошечные уши, сильно покрасневшие и сквозившие. Лицо горбуна вдруг просияло веселостью и добротой.

– Я вам дам денег, – сказал он ласково.

Как быстро приняла руки Полянька, и какая чудная, радостная улыбка осветила ее покрасневшее личико и глаза, еще полные слез!

– ...только скажите мне, – продолжал горбун, – на что вам деньги? Вы молоды: может быть, на прихоти, на тряпки?... а?

– О, нет, мне нужны деньги не на пустяки!

– Эх, хе, хе! Все так говорят, когда деньги нужны. Извините, но я вам сейчас расскажу, какую со мной штуку сыграли. Вот так же приходит раз одна дама, или девица, бог ее знает... ну-с... и просит денег под залог вещей. Вещи такие дрянные, да жаль стало: плачет, говорит: нужда! Хорошо, я и дал. Срок проходит; жду, жду... нет, не идет моя должница... хе, хе, хе! Раз встречаюсь с ней на улице говорю: «Возьмите же ваши вещи: пора деньги отдать». А она смеется... «Вольно же вам, говорит, брать вещи, которые вдвое дешевле стоят!» Вот-с, как впросак попался! хе, хе, хе!

Заливаясь своим тоненьким и звонким смехом, горбун щурился и пристально смотрел на Поляньку. Щеки девушки вспыхнули, и все лицо приняло напряженное выражение; в глазах сверкнуло негодование.

– Я знаю, – поспешил прибавить горбун, – что вы так не поступите; но вы молоды, сирота... без родителей.

– Пожалуйста, не думайте обо мне... я трудами достаю хлеб...

– А зачем же вам столько денег? – перебил горбун. – Я вас спрашиваю, как отец, как брат...

В голосе его звучало столько нежности и участия, что Полянька доверчиво сказала:

– Я занимаю для своего жениха.

– Ай, ай, ай! – И лицо Бориса Антоныча все скорчилось. – Вот так я и думал! Как можно доверять деньги молодым людям? Верно, проигрался?

– Нет, ему нужно ехать отсюда.

– Надолго? – спросил горбун и внимательно посмотрел на печальную Поляньку.

– Не знаю, может быть, и надолго, – отвечала она с грустью.

– Вот ведь молодость-то! Право, мне жаль вас: долго ли до беды! ну а кто вступится за вас?... И братца нет? а?

– Нет никого, – с досадой отвечала Полянька.

– Вот я тоже знал одну девицу-сироту. Жених присватался – хорошо; вот и собрался он к своим родным просить позволения жениться. А она – молода была – сдуру денег ему и вещей

надавала. Ну-с, уехал он; она ждет: ни слуху, ни духу, – жених сгиб да пропал! Бедная девушка похудела; партии хорошие были, всем отказывала: знаете, все верила его клятвам. Хе, хе, хе! Через год или больше, бог их знает, они встретились на улице; она к нему на шею; с радости плачет...

«Что вам угодно? кто вы такие?»

«Как! ты меня не узнал?» – спрашивает она своего жениха.

«Я вас не знаю...»

«Я твоя невеста...»

«Я давно женат на другой...» – Хе, хе, хе! – тихим смехом окончил горбун свой рассказ, который, впрочем, не произвел на Полиньку особенного впечатления. Твердо уверенная в Каютине, она весело сказала:

– Ну, он не станет меня обманывать: напишет, если полюбит другую.

– Да, вот вы так рассуждаете! Ну, хорошо, он вас так любит, что сам не женится; ну, так его силою женят... хе, хе, хе! Человек молодой, как раз встретит товарищей, погуляют, оберут да так подведут, что на другое утро просыпается, а жена сбоку... хе, хе, хе! какая-нибудь сестрица приятеля... хе, хе, хе!

В лице Полиньки выразился испуг: она вспомнила ветреный характер своего жениха, его слабость кутить и дружить со всеми, и предсказания горбуна смутили ее. А горбун смеялся громче обыкновенного, будто радуясь, что испугал девушку.

– Ну-с, – сказал он, потирая руки, – из уважения к Надежде Сергеевне я готов вам дать ту сумму, какую вы желаете. Вот извольте видеть: ваши вещи я беру во сто пятидесяти рублях, а в остальных... прошу покорно, так, знаете, на память, напишите, что, дескать, взяли у такого-то займы сто рублей ассигнациями... хе, хе, хе!

Горбун подошел к столу и приготовил все нужное для письма.

Когда Полинька проворно написала, что он продиктовал ей, горбун сказал:

– Теперь извольте имя и фамилию подписать.

Когда и фамилия была подписана, горбун медленно сложил и спрятал расписку в карман, тихо посмеиваясь. Полинька спокойно стояла перед ним, а он, заложив руки назад, насмешливо смотрел ей в лицо. Наконец его насмешливый и проницательный взгляд смутил ее.

– Ну-с, – сказал он тогда, – вы изволили дать мне расписку?

– Да, – отвечала Полинька, не понимая, что он хочет сказать своим вопросом.

– А деньги получили? хе, хе, хе!

– Нет.

– Вот молодость! – воскликнул горбун, недовольный добродушием девушки. – Денег не получили, – прибавил он резко, – а расписку мне отдали; ну, как я вам не отдам теперь денег, а?

И лицо его приняло такое решительное выражение, что Полинька побледнела.

– Как можно? – возразила она с испугом.

– Как можно?.. вот я вам покажу, как можно!..

Он гордо поднял голову и грубо проговорил:

– Я не могу, сударыня, дать вам займы; извольте прежде заплатить по старой расписке... хе, хе, хе!

Заклучив свою грозную речь тихим и гармоническим смехом, горбун придал своему лицу такое добродушное выражение, что Полинька тоже весело улыбнулась.

– Вот видите, какая вы ветреная, Палагея Ивановна! – заметил горбун с особенным ударением на ее имени. – Извольте подождать: я сейчас принесу деньги... Погодите, сейчас!

Он ушел с озабоченным видом. Полинька, утомленная разнородными ощущениями, села и, нетерпеливо ожидая его возвращения, печально смотрела на красную полоску, будто на память оставленную колечком на ее пальце. -

– Вот-с и я! – произнес горбун, остановясь перед ней и подавая деньги.

Полинька протянула к ним руку, но горбун сказал:

– Позвольте! Где расписка?

– У вас в кармане, – шутливо отвечала Полинька.

– Хе, хе, хе! ну, так извольте взять ее. – Он подал ей расписку и продолжал: – Теперь протяните вашу ручку... вот так, хорошо... Вот деньги, а вот расписка.

Они обменялись.

– Вот так нужно обходиться с деньгами, – заключил горбун.

Полинька поблагодарила его и хотела спрятать деньги. Горбун остановил ее.

– По-по-позвольте! Так вы получили деньги?

– Получила.

– Сполна?

– Сполна...

И она остановилась в недоумении.

– Как же вы не считая взяли? хе, хе, хе!

Пересчитав деньги, Полинька смутилась: двадцати пяти рублей не доставало.

– Хе, хе, хе! недостает!

– Да, двадцати пяти рублей.

– То-то, вы, молодой народ! ну хорошо, что на меня напали, а то...

И горбун, не окончив своей мысли, подал девушке двадцатипятирублевую бумажку.

– Благодарю вас, – сказала Полинька и надела шляпку.

– Прошу и в другой раз не забыть меня; рад, душевно рад служить всем, кто придет от имени такой почтенной дамы, как супруга Василия Матвеича.

Полинька раскланялась и вышла. Горбун провожал ее глазами.

Только что Полинька спустилась с крыльца, как четыре огромные собаки яростно кинулись к ней, гремя цепями, которые были так длинны, что собаки бегали по всему двору. Полинька с пугливым криком воротилась. Горбун стоял в прихожей, заложив руки за спину; он встретил ее своим тихим смехом.

– А ваши собаки? – задыхаясь, сказала она.

– Хе, хе, хе! они не кусаются.

– Нет, я их боюсь.

И Полинька умоляющими глазами смотрела на горбуна. Лицо его съежилось, и он сказал сладким голосом:

– Сейчас, не беспокойтесь. Извольте теперь итти, – продолжал он, дернув за шнурок колокольчика. – Желаю вам веселой дороги и прошу вас засвидетельствовать мое почтение Надежде Сергеевне и ее супругу.

– Хорошо-с, прощайте.

– Прощайте! – кричал ей вслед горбун.

На крыльце Полинька встретила рыжего мальчишку; она дружески кивнула ему головой.

Он протянул руку и, к великому ее удивлению, жалобно сказал:

– Дай еще: я сиротка, – богу буду за тебя молиться!

– Так ты говоришь? – спросила изумленная Полинька.

Мальчишка улыбнулся и снова жалобно затянул:

– Дай хоть грошик!

– У меня нет больше...

Мальчишка проворно побежал отворить калитку и Полинька подивилась, как искусно час тому назад он притворялся хромым.

– Прощай! – сказала она, остановясь в калитке и погрозив ему пальцем.

Мальчишка глупо усмехнулся и дерзко сказал:

– Смотри же, принеси в другой раз, а не то...

- Что ж ты сделаешь? – перебила его угрозу Полинька.
- Не впусти!
- Как же ты смеешь?
- А так!
- Я скажу Борису Антонычу.
- Да я тебя не впусти: как же ты скажешь?
- Я его знаю; увижусь в другом доме и скажу.

Они разговаривали таким тоном, как будто дразнили друг друга. При последних словах Полиньки мальчишка задумался, потом выразительно произнес: «Ну, так...», но, не кончив фразы, неожиданно толкнул Полиньку в спину и с диким хохотом захлопнул за ней калитку.

Полинька хотела закричать... но осмотрелась: пустота страшная была кругом... и в невольном испуге Полинька почти бегом пустилась домой...

Глава VII

Отдается комната с отоплением

В комнате Полинки страшный беспорядок: посреди пола чемодан, раскрытый и полууложенный; белье и платье разбросаны по стульям.

Полинька одна в комнате; она то укладывает, то зашивает что-нибудь. Глаза ее немного припухли и очень красны; слезы даже нередко мешают ей шить.

Солнце село. Каждый раз, как на улице стучали дрожки, Полинька подбегала к окну, но отходила с грустью и снова принималась укладывать.

Наконец стук дрожек, послышавшийся издали, замолк под самыми окнами. Полинька отряхнула платье, поправила волосы и кинулась встречать Каютина, который с трудом вошел в дверь, обремененный многоразличными узлами.

– А, насилу! я думала, что ты уж пропал, – сказала Полинька.

Каютин с озабоченным видом подал Полиньке бутылку шампанского.

– Вот я бутылочку вина привез. Разопьем на прощанье. Ах, как я устал! бегал, как угорелый! все торопился к тебе, – уж недолго на... нам... Ну, Полинька, ты, кажется, плачешь?

Каютин подошел к ней и поцеловал ее влажные глаза.

– Если ты будешь плакать, – продолжал он, – я не уеду. Мне тяжело, мне грустно. Нам надо расстаться весело...

Будем пить и веселиться,
Станем жизнью играть! –

басом запел Каютин, схватил Полиньку за талию и начал вальсировать. Она защищалась. Слезы еще не высохли у ней на щеках, как она уже увлеклась веселостью своего жениха и тоже начала вальсировать. Они вертелись, как сумасшедшие, по маленькой комнатке, с разными напевами, которые заменяли им музыку, как вдруг Каютин споткнулся за чемодан и чуть не полетел, но удержался благодаря своей ловкости.

Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Полинька сказала с веселым смехом:

– Хорош кавалер: чуть даму не уронил! –

– Еще бы, дурацкий чемодан... прямо под ноги...

И он со злобой двинул ногой чемодан.

– Давай укладывать, а то все перезабудем.

– Давай.

Полинька и Каютин сели на пол и начали укладывать вещи. Незначительная укладка немного заняла времени.

– Нельзя закрыть: не сходится! – сказала Полинька, захлопывая крышку.

– А вот я стану на чемодан. Ну, так хорошо?

И Каютин начал припрыгивать на чемодане.

– Тише: ты все там раздавишь! – с сердцем сказала Полинька.

– Что там такое лежит? – спросил Каютин.

– Белье, – отвечала Полинька.

– Ха, ха, ха! разве белье можно раздавить?

Полинька улыбнулась своей оплошности и сказала:

– Смейся! я тебе положила баночку духов: хотела тебе сделать сюрприз. Думаю: приедет, станет разбирать чемодан и увидит духи – вот будет рад!.. Там, я думаю, трудно достать духов... вспомнишь обо мне, как будешь душиться?

– Полинька, я о тебе каждую минуту буду думать! я тебя очень, очень люблю! но я...

И Каютин замолчал; слеза скатилась с его щеки.

– А, вот хорошо: ты велишь мне быть веселой, а сам-то! – с упреком заметила Полянька.

– Что?.. что такое? – спросил Каютин, стараясь придать веселый вид своему лицу.

– Ты плакал.

– Что я за дурак? я не ребенок, – обиженным тоном возразил Каютин.

– Я видела.

– Вздор! Лучше поцелуй меня, Полянька! Долго, долго мне не придется тебя видеть, тебя целовать! а я так привык к тебе, что сам не знаю, как я решился ехать.

Каютин сел на чемодан.

– Дай я запру чемодан, – сказала Полянька, стараясь скрыть свою грусть.

– Ты все возишься с чемоданом; не хочешь меня утешить, сказать, что не разлюбишь меня.

– Ты знаешь это хорошо! – твердо перебила Полянька.

Каютин поцеловал ее и, нежно взглянув ей в глаза, сказал торжественно:

– Я буду самый низкий человек, если разлюблю тебя!.. Ты любишь меня, но скажи, за что... я глуп, – прибавил он так наивно, что Полянька засмеялась.

– А может быть, – отвечала она, – я люблю больше глупых, чем умных.

– Ну, я ветрен.

– Остепенишься.

– Я лентяй!

– Будешь работать.

– Нет, нет, я скверный человек! – горячо сказал Каютин, чистосердечно сознавая в ту минуту свои недостатки и глубоко негодуя на свою давнюю беспечность, которая заставляла его теперь ехать искать счастья бог знает куда, тогда как ему давно следовало подумать о своем положении.

– Пожалуй, ты скверный человек, но я все-таки тебя люблю, – вот и все!

Полянька сделала ему премилую гримасу.

– Хорошо же, ты будешь виновата: я буду желать, чтоб ты меня полюбила все сильнее и сильнее, и из скверного человека превращусь просто в злодея!

– Ты слишком ветрен для злодея.

– Ну, так сделаюсь пьяницей! – со смехом сказал Каютин.

– Вот это так! – тоже смеясь, подхватила Полянька.

Стук в дверь прекратил их разговор.

– Войдите; кто там? – сказала Полянька, запирая чемодан.

В комнату вошла Кирпичова, держа в руках узел с хлебом.

– А, мое почтение, Надежда Сергеевна, – сказал Каютин, вставая с чемодана и вычурно кланяясь.

Полянька поцеловалась с Надеждой Сергеевной, которая подала ей узел и сказала, обращаясь к Каютину:

– Вот хлеб и соль на дорогу.

– И прекрасно! вино у нас есть; мы славно кутнем! Ах, боже мой!

Каютин с отчаянием схватил себя за голову.

– Что такое? – с испугом спросили в одно время Полянька и Кирпичова.

– Ах, боже мой! да как же быть? – говорил Каютин озабоченным голосом.

– Да что такое? не потеряли ли вы паспорта? – спросила с участием Полянька.

– Какой паспорт? – с презрением возразил Каютин. – Льду, льду нет! – прибавил он жалобно: – вино будет теплое!

И он чуть не плакал. Полянька смеялась.

– Bravo! bravo! – воскликнул Каютин. Он схватил бутылку, потом фуражку, подкинул фуражку к потолку, ловко поймал ее, спросил, надев на голову: «хороша фуражка, Полинька?» и выбежал из комнаты.

Прибежав в свою комнату, Каютин закричал раздирающим голосом:

– Хозяин! а хозяин!

К удивлению его Доможиров в ту же минуту явился с вопросом:

– Что вам?

– А вот что: если хотите удружить мне в последний раз, так вот опустите эту бутылку в ваш колодезь.

Доможиров идиотически засмеялся.

– Ну, как разобьется, – сказал он, – кто отвечает?

– Разумеется, вы.

– Ишь какие! ну, а зачем уезжаете, а? Ведь я пошутил, а вы и в самом деле подумали! Нет, я не такой; я благородный!

И Доможиров затянул покрепче кушаком свой халат.

– С чего же вы взяли, что я от вашей шутки уезжаю? – спросил удивленный Каютин.

– Знаю, все знаю, – отвечал Доможиров, прищурился глазами, – вы в тот же день задумали ехать, как я вынул раму. Ей-богу, для шутки! Ну, оставайтесь; право, буду ждать деньги, а вперед, пожалуй, никогда не давайте.

– Спасибо вам, спасибо! – отвечал Каютин, тронутый жертвами Доможирова.

Доможиров страшно привык к нему: его веселый характер, толки о книгах, о разных важных предметах, о политике – все привязало его к Каютину, – и старик чувствовал, что жизнь его одушевилась с тех пор, как он к нему переехал. Доможиров в душе благоговел перед знаниями Каютина, и, не будь он жилец, Доможиров был бы самым покорнейшим и послушнейшим его слугой; но мысль, что он хозяин, а Каютин его жилец, заставляла Доможирова облекаться в вечную холодность, сварливость и противоречие.

– Ну, как знаете, а право бы остались, – подбирая с полу бумажки, бормотал хозяин.

– Я уж и тройку нанял: скоро приедет.

– Эка важность! дайте на водку... Сами же говорили, что с водкой все можно уладить с мужиком.

– Нет, уж теперь поздно, а как вернусь, так готовьте мне квартиру... только большую.

– Экой шутник, право!

– Однако проститесь: я скоро поеду.

– Неужто? да оставайтесь хоть до завтра: что за охота ехать к ночи?

– Веселее, – слез не видать. Прощайте!

И Каютин протянул руку Доможирову. Доможиров простер к нему свои объятия, прижал его крепко к своей засаленному халату и небритой бородой прикоснулся два раза к его щекам.

– Счастливого пути! – сказал он. – Лихом не вспоминайте!

– Не буду, не буду, вы только не браните меня.

– Не за что, – растроганным голосом отвечал Доможиров, и вдруг, будто припомнив что-то очень важное сказал: – подождите, я сейчас приду.

– Мне некогда.

– Одну минуту! – с упреком произнес Доможиров и выбежал вон.

Каютин печально смотрел на свою комнату. Она была совершенно пуста; с вечера еще вся мебель была продана Шукин двор, за пять целковых. Только кучки сору и черные полоски напоминали диван и комод, накануне украшавшие комнату.

Каютин подошел к окну и раздвинул зелень; он хотел было закричать Полиньке, чтоб она в последний раз посмотрела на его окно, но голоса не достало, и слезы рекой полились из его глаз; он отскочил от окна и плакал, как дитя.

Дверь с шумом раскрылась. Как дикий черкес, влекущий на аркане пленника, Доможиров сердито тянул своего сына в комнату, а тот упирался и кусал рукав своего халата. Сын, по примеру родителя, вечно ходил в халате.

– Ну, простись же, поблагодари! – говорил Доможиров, делая сыну страшные гримасы.

– А, Митя! прощай! – сказал Каютин.

– Скажите, чтоб хорошенько учился, – шепнул Доможиров.

– Учись хорошенько, Митя.

Мальчик молчал и продолжал кусать свой рукав.

– Ну, поцелуй же!

Доможиров, недовольный неловкостью сына, толкнул его в спину к Каютину. Мальчик от неожиданного удара ткнул прямо в живот молодому человеку и сильно сконфузился. Наконец он привстал на цыпочки и чмокнул в пуговицу пальто Каютина.

– Прощай!

И Каютин, смеясь, поцеловал Митю в лоб.

– Прощайте! – сказал Каютин, обращаясь к Доможирову.

– Прощайте, с богом! желаю вам счастья... приятного путешествия, – говорил Доможиров вслед уходящему Каютину.

– Бутылочки-то не разбейте! слышите?

– Слышу, слышу!

Каютин, перебежав улицу, в одну секунду очутился в комнате Полинки. Гостей прибавилось немного. Катя и Федя играли около чемодана, а мать их сидела в углу и печально смотрела на своих детей. Надежда Сергеевна тихо разговаривала с Полинькой, которая при входе Каютина поспешно вытерла слезы.

– А, здравствуйте, Ольга Александровна! как поживаете? – сказал Каютин, раскланиваясь с печальной матерью Кати и Феде. – Ну, а вы что кричите, а? – продолжал он весело, обращаясь к детям. – А где же Карл Иваныч? что его не видать?

– Я ему дала комиссию; он сейчас придет, – отвечала Полинька.

– Хорошо! А я покуда, с позволения дам, выкурю трубку.

Но вдруг лицо Каютина омрачилось.

– Ах, я дурак! что я наделал? табаку-то и не купил, – воскликнул он печально и с ужасом посмотрел на всех.

Полинька невольно улыбнулась и, перемигнувшись с Надеждой Сергеевной и Ольгой Александровной, отвечала:

– Зато вино есть!

– Я сейчас сбегая... нет, мне не хочется...

И Каютин хныкал, как капризное дитя; ему не хотелось оставить Полиньку. В ту минуту в дверях показался Карл Иваныч, весь запыхавшись, с двумя картузами табаку в руках, Он, видимо, смутился и не знал, что ему делать при виде Каютина, который радостно закричал: «а, а, а!»

Полинька подскочила к оторопевшему Карлу Иванычу, вырвала у него из рук картуз с табаком, поблагодарила его за хлопоты и весело начала дразнить табаком Каютина.

– А я об вас спрашивал, – сказал Каютин и пожал руку Карлу Иванычу. – Спасибо вам: вы все хлопочете.

– Ничего-с! – И Карл Иванович странно улыбался и вытирал себе лоб; потом он взял Каютина за руку, отвел его в сторону и, таинственно подавая ему коробочку сигар, сказал: – Вот-с, на дорогу.

– Что это? сигары?... Ах, Карл Иваныч, спасибо, спасибо вам!

Каютин поцеловал смущенного Карла Иваныча в лоб.

Полинька, пользуясь временем, самодовольно набивала табак чудесный новенький кисет собственной работы.

– Где табак? – спросил Каютин, суетясь с трубкой, которую хотел набить.

– Вот он! – торжественно сказала Полинька и подала ему туго набитый кисет.

Каютин был тронут внимательностью Полиньки; он молчал и так нежно смотрел на свою невесту, что она, краснея, сказала:

– Что же вы?

– Полинька!.. Палагея Ивановна! – поправился Каютин, но слов у него не достало... он с жаром поцеловал ее руку.

Полинька вырвалась и сказала:

– Ну, набейте же вашу трубку.

– Какой хорошенький! – в восторге говорил Каютин, разглядывая кисет.

Он осыпал его поцелуями и бегал по комнате с криком «какой хорошенький!» Подбежав к Полиньке, Каютин неожиданно поцеловал ее в щеку. Полинька вскрикнула и готова была надуться; но Каютин так смешно вертелся по комнате, всех целуя, с кем сталкивался, что сердиться у Полиньки не достало духу. Все смеялись. Каютин, все больше одушевляясь, делал страшные прыжки, прижимал к сердцу кисет, целовал его страстно; но вдруг; общий смех и говор замолк. Каютин, приготовлявшийся к новому прыжку, остановился неподвижно. Все прислушивались к тяжелому стуку, раздававшемуся у окон... Вдруг стук замолк.

– Телега, телега! – радостно кричали дети, подбегая к окну.

Полинька побледнела и закрыла лицо руками: В комнате было страшное молчание. Привязанный колокольчик уныло позванивал, когда коренная встряхивала головою. Безобразная Розка злилась и лаяла на телегу и особенно на ямщика, который дразнил ее кнутом. Карл Иваныч, дрожа всем телом, смотрел то на Полиньку, то на Каютина, стоявшего неподвижно среди комнаты с испуганным лицом.

– Шампанского! давайте пить и веселиться! – вдруг вскрикнул он и снова запел и завертелся по комнате.

– Где же вино? – спросила Полинька.

– В колодце у Доможирова... ла, ла, ла! – отвечал Каютин, напевая вальс Вебера и грациозно вальсируя с кисетом, который он держал за снурки, будто даму.

Все засмеялись.

– Зачем вы его туда кинули? – спросил Карл Иваныч.

– Ха, ха, ха! вот мило! как кинул? деньги заплатил, да кинуть! нет-с, я не такой! я его опустил, чтобы оно холоднее было.

– Я сбегаю принесу его.

Карл Иваныч побежал за бутылкой.

– Пока уложили бы чемодан и вещи в телегу, – заметила Надежда Сергеевна.

– Успеем, – беспечно отвечал Каютин, будто оставалось еще очень много времени, и, обратясь к Полиньке, тихо прибавил:

– Ну, Полинька, я уез...

И, не окончив своей фразы, он громко запел:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой!

Но и песни своей он не кончил, а снова обратился к Полиньке:

– Палагея Ивановна, спойте мне что-нибудь.

– Вот что вздумали! я стану петь!

– Отчего же и нет? Ну, пожалуй, если не хотите пить, так давайте пить; вот и Карл Иванович... а, спасибо! холодно ли?

– Вот вам! – ставя на стол бутылку, сказал Карл Иванович.

– А бокалы? – спросил Каютин.

– Какие бокалы! вот стаканы! – отвечала Полинька.

– Ах, бокалы бы лучше! ну, да нечего делать, давайте хоть стаканы.

И Каютин с наслаждением начал обивать смолу. Все смотрели с любопытством и все жались ближе.

– Тише, не разбейте, – заметила Ольга Александровна.

– Не бойтесь! – гордо ответил Каютин, обрезывая проволоку. – Ну, господа, стаканы!

– Вот, вот!

И ему подали на маленьком подносе несколько стаканов. Медленно начал Каютин вытаскивать пробку.

– Не нужно ли штопора? – наивно спросил Карл Иванович.

Каютин залился смехом... Пробка сама выскочила с треском и ударила в потолок. Все отскочили с визгом и криком: каждый боялся пробки, как ракеты. Каютин так растерялся, что отчаянным голосом закричал:

– Стаканов, стаканов!

Несколько рук протянулось к нему; шипя и искрясь, полилась влага в стаканы.

– Ах, уйдет! уйдет квас! – закричали дети, увидав, как высоко поднялась пена.

Разлив вино по числу присутствующих, Каютин взял стакан и сказал:

– Господа, за здоровье Палагеи Ивановны!

– Нет, нет, за ваше скорое возвращение! – сказала Полинька краснея.

– Да, правда! – сказали все остальные.

– Желаю вам счастливого пути! – сказала Надежда Сергеевна.

– Желаю вам денег, – подходя к Каютину, сказала Ольга Александровна.

– Желаю вам... – и Карл Иванович остановился, пристально посмотрел на Полиньку и договорил: – желаю вам воротиться к зиме.

Полинька взглядом поблагодарила доброго Карла Ивановича за такое великодушное желание.

– Ха, ха, ха! скоро, очень скоро! – заметил Каютин.

Полинька подошла к Каютину.

– Желаю вам, – сказала она нетвердым голосом, – веселой дороги и успеха во всех ваших предприятиях... чтоб вы были здоровы и веселы и не заб...

Полинька запила остальное. Каютин жадно слушал очаровательный и грустный голос своей невесты, которого предстояло ему не слышать, может быть, многие годы. Он обвел стаканом присутствующих, прощаясь со всеми и благодаря; глаза его остановились на Полиньке.

– Я сам себе желаю, – сказал он: – ну, да не скажу, чего я желаю...

И, выразительно посмотрев на Полиньку, он залпом выпил стакан до капли. Чтоб скрыть свое смущение, Карл Иванович поднял пробку с полу и старался ее вставить снова в бутылку, удивляясь, что пробка так дурна.

– Уж смеркается, – заметила Надежда Сергеевна.

Все затихли и глядели друг на друга; казалось, ни у кого не доставало духу сказать: пора ехать. Каютин подошел к окну, заглянул в него и, обратясь к детям, сидевшим на окне, сказал дрожащим голосом:

– Ну, что? хотите ехать со мною, а? так собирайтесь: пора!

– Хотим, хотим! – радостно отвечали дети и, соскочив с окна, подбежали к матери, крича:

– Мы с дядей поедem!

– Полноте, он пошутил, – отвечала мать и обратилась к Каютину:

– В самом деле, не пора ли ехать?

– Надо сперва всем сесть! – заметила Надежда Сергеевна.

– Да, надо сесть! – повторил Каютин стараясь придать веселость своему голосу.

Полинька ничего не говорила; бледная, как смерть, она смотрела кругом в молчаливой тоске и машинально подражала движениям других. Все уселись. Каютину было так тяжело, что он через секунду же вскочил; все, крестясь, сделали то же.

– Ну...

И Каютин собрался с силами, подошел к руке Надежды Сергеевны и сказал умоляющим голосом;

– Прощайте, не оставьте Палагею Ивановну! Кирпичова успокаивала его и обещала как можно чаще навещать Полиньку.

Каютин подошел также к руке Ольги Александровны и, прощаясь, тоже просил о Полиньке.

– Прощай, дядя, прощай! – цепляясь за пальто Каютина, кричали дети и протягивали ему губы. И Каютин, приподняв каждого из них, крепко поцеловал детей: ему было невыносимо грустно расставаться со всем, что любила Полинька.

– Карл Иваныч, прощайте! – сказал Каютин, голос которого все больше и больше слабел.

Карл Иваныч стоял с узлами, которые готовился уложить в телегу.

– Прощайте! – отвечал он и не знал, как подать руку: обе его руки были заняты.

Каютин обнял его, крепко поцеловал и шепнул ему на ухо:

– Ради бога, не уезжайте с этой квартиры, не оставляйте ее одну.

– Как можно! как это можно!

И Карл Иванович побледнел при одной мысли переехать на другую квартиру.

Время настало проститься с Полинькой, которая с каким-то странным равнодушием глядела на прощанье; она, казалось, не верила своим глазам и ушам.

– Палагея Ивановна, проща...

Но у Каютина опять не достало голоса. Он нагнулся поцеловать ее руку; слезы брызнули из его глаз, и он долго, долго, не отрывал своих губ от руки Полиньки. Сначала Полинька вспыхнула, потом снова побледнела, глаза ее наполнились слезами, она нагнулась ему на плечо и тихо зарыдала. Каютин начал ее целовать, они его: они все забыли; слезы их смешались; ни клятв, ни слов не было; одни взгляды, но они так страшны были, что все прослезилось, а Карл Иваныч, весь бледный, тяжело дыша, бросив узлы и не помня себя, ходил около прощающихся. Вдруг Полинька опомнилась, отскочила от Каютина, покраснела и, вытирая слезы, с принужденной улыбкой сказала:

– Пишите... не забудьте ваш адрес прислать.

Каютин был страшно расстроен; он расстегнул пальто, снова застегнул его.

– Слышали? адреса не забудьте! – повторила Полинька.

– Не забуду; вы, пожалуй, будете просить, чтоб я вашего адреса не забыл, – смеясь сквозь слезы, сказал Каютин и пошел к дверям; все за ним последовали... В телеге все уже было уложено Карлом Иванычем, Хозяйка, подбоченясь, стояла у ворот и радостно смотрела на печальное лицо Полиньки.

– Прощайте, Василиса Ивановна! – сказал Каютин. – Не обижайте Палагею Ивановну: я вам подарочек привезу.

– Благодарю, – отвечала хозяйка, – я не такая, чтоб кого обидеть!

– Ну, хорошо ли вам? – спросил Карл Иваныч, когда Каютин, еще раз перецеловав всех без церемонии в губы, влез в телегу.

– Славно! точно в кабриолете.

– Кисет взяли? – спросила Полинька.

– Взял: вот он!

И Каютин подкинул кiset, висевший на пуговице его пальто.

– Все ли взяли! не забыли ли чего? – спросила Надежда Сергеевна.

– Кажется, все! – отвечал Каютин.

– Прощайте! – вдруг закричал Доможиров, высунув свою голову в белом колпаке из форточки. – Поздно едете; засиделись, пора, пора!

– Да, пора, прощайте!

Каютин протянул руку Полиньке и, пожав ее, тихо сказал:

– Полинька, дай мне еще раз поцеловать тебя...

– Ах, как можно – на улице!

И она отскочила от телеги, опасаясь, чтоб Каютин не исполнил своего желания.

– Ну, пошел! – гаркнул Доможиров из окна.

Ямщик ударил кнутом, и телега покатила. Все это случилось так неожиданно, что все закричали: «стой!», а Каютин упал и барахтался в сене. Доможиров хохотал, как сумасшедший. Из окон соседних домов повысунулись головы и с любопытством смотрели... Полинька и Карл Иваныч побежали за телегой, крича: «стой, стой!» Телега остановилась, и Каютин, весь в сене, снова сидел на чемодане. Его опять все окружили и начали по-прежнему прощаться.

– Ну, Полинька, не плачь; давай смеяться, а то я все буду думать, что я тебя в слезах оставил, – говорил Каютин, перевесившись из телеги и отрывая ее руки от лица.

– Ну, хорошо, я не буду! – И Полинька вытерла слезы и, обмахиваясь платком, улыбалась.

– Прощайте, Карл Иваныч, не забудьте, о чем я вас просил.

– Все помню, все...

– Прощайте, Надежда Сергеевна! прощайте, Ольга Александровна! дети, прощайте! Ну, пошел! – скомандовал Каютин ямщику и отчаянным голосом закричал: – Полинька, прощай!

Стук телеги заглушил его крик. Полинька побежала было за телегой, но силы ее оставили; она тоскливо глядела на Каютина, который повернувшись к ним, махал платком и что-то кричал. Пыль, сливаясь, застилала его; стук становился все тише и тише и, наконец, смолк. Полинька все еще глядела и махала платком; но когда телега превратилась в едва заметную точку, Полинька кинулась на плечо Надежды Сергеевны и горько заплакала. Никакие утешения не могли остановить ее тоскливых рыданий. Наплакавшись, она пошла домой в сопровождении своих гостей. Печальна была их беседа; какой бы разговор ни начинали они, все не клеилось; наконец Надежда Сергеевна собралась домой и уговаривала Полиньку итти к ней ночевать, но Полинька отказалась: ей хотелось плакать на свободе. Оставшись одна, она кинулась на диван и дала волю своим слезам, ночь провела она без сна и все плакала. Карл Иваныч также не спал: он сидел под своим окном, с глазами, неподвижно устремленными на одну точку, и лицо его то покрывалось смертной бледностью, то вспыхивало. Он отчаянно жал свою голову в руках, иногда тихо начинал свою обычную песню; но слезы мешали ему, и, склонив голову на окно, он громко рыдал. Стало рассветать; утренний воздух освежил его бледное лицо; он запер окно и скрылся. Солнце ярко светило в комнату Полиньки, а она еще спала; проснувшись она осмотрела свою комнату, будто припоминая что-то, потом подошла к окну, подняла стору, но вдруг быстро опустила ее, увидев на окне квартиры Каютина билет: «Отдается комната с отоплением». Полинька небрежно оделась – не так, как прежде! – взяла свою работу с окна и села к нему спиной. Она стала шить, но слезы мешали ей... и, облокотясь на стол, Полинька тихо плакала.

Часть вторая

Глава I Неожиданный гость

Пять часов вечера. Девушка Кривоногова, неизменно рыжая и краснощекая, сидит в своей кухне перед кипящим, ярко вычищенным самоваром и усердно потчует чаем своего желанного гостя Афанасия Петровича Доможирова и его любезного сына. Катя и Федя притаились в углу и жадно наблюдают, как красноухий Митя, тоже в халате, как его родитель, раздвинув ноги и нагнувшись к столу, с шумом втягивает в себя горячий чай с блюдечка. Лицо хозяйки сияет удовольствием. Она посматривает то на Доможирова, то на Митю с такой лукавой улыбкой, что, не будь она так полна, ее можно бы сравнить с русалкой. Но простодушный Доможиров ничего не подозревает: он спешит утолить жажду, возбужденную послеобеденным сном, и оканчивает уже шестую чашку вприкуску.

– Уж что ни говорите, Афанасий Петрович, – говорит девушка Кривоногова, – а ваша квартира околдована! Ну, на что похоже? с неделю как билет прибит, сколько перебивало народу, а ни с кем не сошлись.

– Никто такой цены не дает, матушка Василиса Ивановна, а знаете, как-то не хочется спустить.

– Вот то-то дело холостое! Право, Афанасий Петрович, вам бы пора хоть для сынка в доме порядок завести. Да и вы, – хозяйка бросает на своего гостя кокетливый, взгляд, – какой же вы старик? посмотрите на себя.

Доможиров улыбнулся и случайно взглянул на самовар: на выпуклой, лоснившейся поверхности его отражалась такая безобразная фигура, что Доможиров скорчил гримасу, чтоб увериться, точно ли то было его отражение; к ужасу его, и безобразная фигура сделала такую же гримасу. Доможиров отвернулся и плюнул.

– Ну, какой я жених? – сказал он с досадой. – Куда мне думать о хозяйке?

– Эх, заладил одно: стар да стар! Кому же, как не старику, и нужна хозяйка?

– Моя Мавра все сможет сделать, – заметил Доможиров и с умышленным стуком опрокинул чашку; но разгоряченная хозяйка не заметила, что гостю следует налить еще.

– А, небось, квартиру не сумеет отдать? – возразила она с презрительной гримасой.

– Да разве кто может отдать квартиру, когда жильцы не дают настоящей цены?

– Да я, например, – гордо отвечала хозяйка.

Доможиров с удивлением посмотрел на нее.

– Почему ходила квартира сначала? – спросила она,

– Девятнадцать рублей в месяц, – проворно отвечал Доможиров.

– А потом?

– Двадцать пять.

– Ну-с, а когда вы набавили?

– Повздорил сначала; а дал.

– А знаете ли, почему вам дали так дорого?

– Потому что квартира хорошая.

– Скверная! – с жаром возразила хозяйка. – Да, сердитесь не сердитесь, мне все равно. Я люблю правду, Афанасий Петрович! Не будь моей красотки, так ваша квартира никогда бы больше девятнадцати рублей не ходила... Так и быть, я вас научу...

– Научите, матушка Василиса Ивановна.

– Вы сбавьте цены сначала да отдайте холостому... слышите: холостому, а не женатому! Станет торчать у окна, как прежний, так и набавьте! Сердечко занает, так все даст.

Доможиров с благоговением слушал хозяйку.

– А что вы думаете, – сказал он радостно, – и вправду так!.. Она такая красивая: жаль только: похудела, как женишок уехал.

– Похудеешь! – злобно возразила хозяйка, лицо которой в одну минуту покрылось синими пятнами. – Похудеешь, как бросил, да еще в таком положении, что стыдно будет в люди показаться!

– Эх нехорошо про честную девушку так говорить! – заметил недовольным голосом Доможиров.

– Честная! честная! – запальчиво подхватила Кривоногова: – небось, одного успела спровадить, того и гляди другой явится. Что, я слепа, что ли? не вижу, как башмачник то и дело к ней бегают, шьет ей такие фокусные башмачки... с боку надевать, что ли, их нужно? Я увидела, да и спроси: «Кому это?», покраснел и говорит: «На заказ». Я себе думаю: постой, немчура, погляжу... В воскресенье она пошла к обедне, глядь: ноги точно щепки, и фокусные башмаки надеты; а... это что?

И хозяйка, подбоченясь, вопросительно глядела на Доможирова.

– Ну, что же?.. она ему заказала,

– За-ка-за-ла? – протяжно повторила хозяйка. – Нет-с, Афанасий Петрович, я не мужчина; смазливая девчонка меня не проведет. Она готова обобрать всякого. Суньтесь-ка!

– Что вы? я стар, она на меня и не посмотрит! – сказал Доможиров и улыбнулся при мысли: что, если б он в самом деле понравился Полинке?

Девушка Кривоногова, видно, догадалась, какие преступные ощущения шевельнулись в его душе и озарили довольной улыбкой его некрасивое, серое лицо; она затряслась и, едва удерживая бешенство, спросила:

– Пожалуй, и вы уж не хотите ли жениться на ней? ха, ха, ха! вот была бы хорошая хозяйка! вишь, на губах еще молоко не обсохло а уж как умеет всех приманивать!

И хозяйка, отодвинув с сердцем свою чашку, положила локоть на стол.

– Небось, – говорила она, будто рассуждая сама с собою, – когда я была молода, женихов не было же столько! честные девушки не сами себе женихов ловят, а кто посватается, только и есть... У ней так счету нет... На заказ! Нет, я все вижу, – продолжала хозяйка, обращаясь к Доможирову, – да молчу, а уж как выйду из терпенья!

И она стучала кулаком по столу и яростно глядела на Доможирова, который в смущении покачивал ногой. А сын его, пользуясь случаем, воровал сахар и делал разгоряченной хозяйке уродливые гримасы.

Стук в дверь прекратил ревнивые крики девушки Кривоноговой, к величайшей радости Доможирова.

– Кто там? – грозно окликнула хозяйка.

Низенькая фигура горбуна показалась в дверях. быстро окинул своими блестящими глазами комнату приложив руку к шляпе, вежливо спросил:

– Палагея Ивановна Климова здесь проживает?

– Здесь, – отвечала хозяйка, вылезая из-за стола. – А вам ее нужно? – нагло спросила она, подойдя к горбуну.

– Да-с.

– Извольте, – небрежно сказала хозяйка, видимо рассерженная таким кротким ответом: – из сеней направо, вверх; одна дверь всего.

– Благодарю-с!

И горбун вышел. Хозяйка крикнула:

– Эй, Федя! проводи чужого дядю наверх!

Брат и сестра побежали за горбуном.

– Вот недавно уехал, а уж и начали таскаться, проворчала хозяйка, садясь на свое место.

Доможиров захохотал.

– Неопасно, – сказал он, – ха, ха, ха! Горбун! видали, что ли?

– Велика важность, что горбун!

– Ну, все-таки с горбом... ха, ха, ха!

Доможиров принужденно смеялся: ему хотелось веселить хозяйку, чтоб она снова занялась чаем и предложила ему чашечку.

– Лишь бы женился, она не посмотрит, что горбун, сама всякому готова на шею вешаться.

– Эх, Василиса Ивановна! – с упреком заметил Доможиров, – нехорошо чернить сироту: ведь я вижу, как она живет. Нас с вами сковороду лизать заставят.

– Так я лгу, что ли, по-вашему? а?

И хозяйка вытянулась во весь рост и, дрожа от злости, кричала:

– Так я лгунья? И все из-за скверной девчонки! Спасибо вам, спасибо, Афанасий Петрович! Вот, делай добро людям!

– Полноте, Василиса Ивановна, разве я вам что-нибудь обидное сказал?

– А, так вам кажется, еще мало вы меня обругали? так я буду сковороду лизать? а? Небось, вы ее хвалите, горой за нее, а я ведь тоже сирота!

И хозяйка заревела.

Доможиров подмигнул сыну и в минуту самых жестоких упреков девицы Кривоноговой незаметно удалился. Но и в своей комнате он долго еще слышал, не без сердечного трепета, язвительные крики о том, что грех сироту обижать.

Полинька сидела за работой, не подозревая, что за нее происходит внизу жаркая ссора. Она немного похудела и побледнела; лицо ее, прежде веселое и беззаботное, теперь стало задумчиво. Услышав шаги на лестнице, она приподнялась, думая встретить Карла Иваныча, и очень удивилась, когда перед ней очутился горбун.

С приветливой улыбкой развязно подошел он к руке Полиньки.

– Извините, не беспокоил ли я вас?

– Ничего-с, сделайте одолжение... Не угодно ли садиться?

Она подвинула стул. Борис Антоныч тотчас же воспользовался им. Сидя, он казался еще меньше; горб его стал заметнее, ноги не доставали до полу. Но он ловко уселся и начал так:

– Як вам, Палагея Ивановна, с маленькой просьбой...

– Очень приятно, – перебила Полинька, успокоенная развязным видом горбуна. – Что вам угодно?

– Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат... из тармаламы; я, знаете, люблю хорошие вещи.

Полинька покраснела и замялась.

– Извините меня... я никогда не шила халатов: слишком велика работа... у меня места мало.

– Мой халат немного места займет, – заметил горбун с тихим, добродушным смехом.

Он смеялся на собственный счет.

– Все равно... да я никогда не шила!

– Что делать, что делать! Не шили, так и толковать нечего... Вот еще я хотел было просить вас обрубить мне платочки и меточку кстати положить, – говорил горбун, вынимая из кармана сверток. – Я, знаете, человек холостой, одинокий, судьба невзлюбила меня и обрекла...

Он не договорил и тяжело вздохнул. Лицо его омрачилось. Полинька была расположена к участию и теперь, больше чем когда-нибудь, сочувствовала всякому горю, особенно одиночеству. Ей живо представилось положение человека, лишенного возможности нравиться женщине, обреченного вечному одиночеству.

– Извольте, – ласково сказала она, принимая платки. – Платки я могу обрубить. Завтра же будут готовы.

– Вы сами изволите занести работу? – равнодушно спросил горбун.

– Я? нет-с! Я никогда своей работы не отношу.

– Как же? неужели все к вам ходят за нею? – с язвительной усмешкой спросил горбун. А,

– Нет, я мужчинам не отношу сама, – быстро отвечала смущенная Полинька.

– А, а, а! так вы боитесь ко мне... хе, хе, хе!

И горбун с наслаждением любовался вспыхнувшим лицом Полиньки.

– Как можно! – возразила она обиженным тоном.

– Как же вы всем сами относите работу, а мне не хотите...

– Я никогда не шила мужчинам... впрочем, я вам пришлю.

– Нет, не надо, – с испугом сказал горбун. – Не беспокойтесь, – продолжал он спокойнее. –

Я лучше сам зайду, если только вы позволите.

Он встал со стула, поклонился и снова сел.

– Очень хорошо-с; они завтра будут готовы.

– Не спешите: я подожду, вот мне халат нужнее был: дело немолодое, согреться иногда хочется... хе, хе, хе!.. Полинька готовилась оправдаться, но горбун легким наклоном головы дал ей знать, что совершенно покоряется невозможности, и круто спросил:

– Вы одни изволите жить?

– Одна-с, – отвечала Полинька, обрадовавшись перемене разговора.

– Что изволите платить?

– Двадцать рублей.

– С дровами?

– С дровами.

– Дорого-с, – положительно сказал горбун, осматривая комнату. – А хозяйка хорошая? знаете, иногда потому платишь дороже.

– Да... – отвечала Полинька, не спеша похвалить свою хозяйку.

– Впрочем, знаете, оно, с одной стороны, и недорого, – заметил горбун, продолжая рассматривать комнату. – Жильцов, кроме вас, нет?

– Нет, я одна. Ах, да! еще внизу башмачник живет.

– Непьющий?

– О, как можно! – с живостью возразила Полинька и покраснела, спохватившись, что горбун совсем не знал Карла Иваныча.

Горбун нахмурил брови и пристально посмотрел на нее.

– Вы, может быть, знакомы с ним? – спросил он.

– Да, я его очень давно знаю! – свободно отвечала Полинька.

– Хорошо, что так, а то, знаете, мастеровой народ такой грубый... ругается, дерется.

– Нет...

– Я понимаю, – перебил горбун, – что если он человек хороший, так не станет буйствовать. А то, к слову, я знавал, уж правда давненько, одну старушку, которая жила на квартире, вот как и вы. Раз ночью слышит она, копошится что-то близехонько; повернула голову, глядь – у кровати стоит мужик с огромным ножом и смотрит на нее. Старушка вскрикнула; он зажал ей рот и поднес нож к самому горлу, да и говорит: «Ну, старуха, скорей говори, где у тебя спрятаны деньги?» Она молчит; он опять: «Говори, а не то молись...» и занес нож.

– Ах! – вскрикнула Полинька.

– Он занес нож, а старуха хоть бы пикнула, и даже не шевельнулась...

– Верно, умерла? – торопливо спросила Полинька.

– Позвольте... Как хотите, но когда нож у горла, какой человек не закричит! Даже и мужику показалось чудно, что старуха молчит; нагнулся к ней: она не дышит.

– А как он забрался к ней? верно, она жила внизу?

– Нет, во втором, как и вы.

– Впрочем, я тоже невысоко живу, – сказала Полянька и невольно измерила расстояние.

Горбун продолжал:

– Утром хозяйка постучалась к старушке: не подает голоса. Ей стало страшно, думает человек старый, долго ли до беды? сегодня на ногах, а завтра на столе! Вот она кинулась за доктором, за полицией... Сломали дверь: старуха лежит без языка, глаза налились кровью, – и все на дверь смотрит. Так она пролежала двое суток. Все стонет, на дверь указывает; слезы так и катятся по желтому лицу. Жаль ее стало доктору! – Надо, – говорит, – посмотреть, чего ей хочется, – и пошел к двери. Старушка чуть не соскочила с кровати, замычала, как зверь, и начала биться. Доктор спросил: – Кто живет за дверью? – «Сапожник, батюшка!» – отвечала хозяйка. – Смирный ли человек? – «Очень, батюшка; около масляницы год будет, как живет, – никаких кляззов нет за ним». Доктор подумал, подумал, да и велел привести сапожника. Долго ждали его, наконец пришел. Доктор сел у кровати больной и позвал сапожника; тот не подходит; доктор прикрикнул: нечего делать, подошел, только все стыдится, точно ребенок. Доктор перевернул старушку, чтобы она могла видеть сапожника. Увидела – да как затрясется, замычит, забьется, – просто со страху все вздрогнули! Сапожник побледнел, покачнулся. Доктор ударил его по плечу, да и сказал: «Душегубец!..» Сапожник так и присел и завыл: «Винovat! окаянный попутал меня, грешного. Всего беленькую ассигнацию нашел!» – Да что тебе за охота пришла красть? – спросил доктор. «А, – говорит, – и сам не знаю; услышал как-то от хозяйки, что старуха деньги копит, меня и начало мучить: украдь да украдь! Так вот, покою ни днем ни ночью нет, работа не спорится. Я, – говорит, – ночи напролет простаивал у дверей: все слушал, спит она или нет. А в одну ночь так, – говорит, – пришло тяжело, словно кто душит; я, – говорит, – и решился, нож взял только постращать...» Все рассказал сапожник у кровати старушки, а старушка тут же богу душу отдала.

– Как страшно! – сказала Полянька. Лицо ее было угрюмо, брови нахмурены.

– Да-с, не всегда хорошо иметь жильца, – заметил горбун, довольный впечатлением, которое произвел на нее, – и долго он смотрел на задумчивое личико Поляньки; наконец его огненные, пронизательные взгляды начали конфузить ее.

– Извините: засиделся! – сказал он и встал.

Полянька с радостью встала тоже.

– Я завтра пришлю вам платки.

– Зачем же, зачем? я сам приду, если позволите. А вы извините, что засиделся; я, знаете, человек одинокий: рад, с кем случится поболтать. Прощайте, извините!

И горбун учтиво подошел к руке Поляньки.

Полянька не очень охотно подала ее и поспешно выдернула, почувствовав прикосновение его губ. Запирая за собою дверь, он бросил на нее такой пронизательный, долгий и странный взгляд, что она испугалась, но скоро сама улыбнулась своему пустому страху и занялась платками горбуна.

Тихо, как кошка, вошел горбун в кухню к хозяйке, Не замечая его прихода, девица Кривоногова продолжала мыть чашки и ворчать: «Чего доброго, и он посватается; да нет, не бывать этому!..» И она стукнула чашкой по столу, отчего Катя и Федя, торопливо допивавшие холодный чай свой, оба разом вздрогнули.

– Позвольте узнать, нет ли у вас комнаты внаймы? – громко и резко спросил горбун.

Незнакомый, неожиданный голос так испугал хозяйку, что она пошатнулась, а потом начала креститься.

Она, кажется, совсем забыла о горбуне и смотрела на него с изумлением.

– Нет ли комнаты внаймы? – повторил он.

– Все заняты! вы разве видели билет на воротах? – с сердцем отвечала хозяйка.

– Так-с... я мимоходом спросил... славные комнаты, и дешево.
– А вы почему знаете? – спросила хозяйка несколько мягче.
– Я сейчас был у вашей жилицы: так она сказывала...
– А вы изволите ее знать? она вам знакома?
– Не ваши ли деточки? какие хорошенькие! – заметил горбун, не отвечая на вопрос.
– Нет-с, на хлебах держу, за такую малость, что, право, не стоит и возиться; да, знаете, сердце у меня такое доброе.

И хозяйка просияла; она готовила своему сердцу страшные похвалы в виде упреков; но горбун помешал ей вопросом:

– Не вашего ли супруга я имел удовольствие видеть за чаем?

Лишенное возможности бледнеть, лицо девицы Кривоноговой покрылось фиолетовыми пятнами.

– Нет-с, – отвечала она с презрением, – это поручик, мой сосед... я девица.

Горбун пристально посмотрел на девицу и, не сводя с нее глаз, спросил:

– От маменьки домик достался?

Девица Кривоногова немного смешалась, но скоро оправилась и смело отвечала:

– Нет-с; я, знаете, трудилась в молодости, и, можно сказать, трудовой копеечкой приобрела дом.

– Гм! – произнес протяжно горбун и, придав своему лицу равнодушное выражение, как будто мимоходом спросил: – А жильцы у вас давно живут?

– Какие-с?

– Башмачник?

– Как бы сказать, не солгать, дай бог память... да, точно: другой год пошел.

– Хороший жилец?

– Ничего, платит аккуратно... да ведь немец, – прибавила хозяйка, давая заметить, что аккуратность платежа не есть в нем достоинство.

– А, а! так он немец?

– Да.

– А жилица хорошо платит?

Хозяйка слегка вздрогнула. Ревнивая злость снова проснувшись в ней, – она не знала, что отвечать.

– Разумеется! – я ведь потачки не дам, гулять не позволю, дом свой не осрамлю, – сейчас вон, чуть что увижу!

И хозяйка грозно качала головой.

– А давно живет?

– Тоже год с небольшим, – я это помню хорошо. Она прежде переехала, башмачник потом. Он, знаете, прибавил мне на квартиру; а прежде в ней жил какой-то дворянин, не служащий, бедный такой, больной и азартный; я давно зла на него была и говорю ему, что мне нужна самая квартира. Он ну кричать, браниться: я, говорит, больной, в полицию пожалуюсь, доктор мне велит дома сидеть. А мне-то что за дело? сами посудите.

– Разумеется, – отвечал горбун.

– Ну, я ни дров, ни воды; стала прижимать его. Известно, как хозяин жильца сживает.

И хозяйка одушевилась; ее лицо при этом приятном воспоминании все просияло.

– Вот я его-таки сжила. Он, знаете, сердился, искал себе квартиру и все... а только переехал, на другой день и умер.

Горбун тихо засмеялся.

– Да, умер! ей-богу, на другой же день умер! Уж как я рада была, что его выжила: ну, как бы у меня на квартире протянулся, – поди возись, человек одинокий., да и жильцы обегают квартиру после покойника.

- Известно, невесело... Ну-с, за сим прощайте! И горбун повернулся.
- Позвольте узнать, далеко ли живете? – крикнула хозяйка, испугавшись, что забыла спросить его.
- Далеко-с.
- Вы... – и хозяйка замялась, – вы, – продолжала она, придав своему лицу приятное выражение, – по какому делу изволили быть у девицы Климовой.
- По делу, по делу! – отрывисто отвечал горбун.
- Она шьет прекрасно, – заметила хозяйка, пробоя со всех сторон неразговорчивого горбуна.
- Не знаю, хорошо ли шьет, – отвечал горбун.
- Кажись, все на важных особ работает. Да теперь заленилась немного; жених уехал, так горюет,
- Давно? – с живостью спросил горбун, но тотчас с совершенным равнодушием прибавил: – немудрено, девица молодая, долго ли влюбиться!
- И, какая любовь! я думаю, скоро забудет.
- Разумеется... молода... хе, хе, хе! Прощайте!
- И горбун поклонился. Но хозяйка не заметила его поклона, она вслух думала:
- Да-с, еще молода, забудет своего жениха; упряма, а то...
- Девица Кривоногова значительно улыбнулась. Лицо горбуна, внимательно наблюдавшего за ней, тоже вдруг исказилось, и он отвечал ей такой же улыбкой. Будто узнав в нем своего поля ягуду, хозяйка радостно засмеялась, он тоже, – и, не говоря ни слова, они с минуту заливались зловещим, страшным смехом.
- Так она упряма?
- Да, уж я пробовала; нет, хитра: не поддается!
- А теперь?
- Пуще, чем прежде.
- Не может быть! хе, хе, хе!
- И горбун пошел к двери.
- Не зайдете ли еще? может, и приготовлю...
- Что? – быстро спросил горбун.
- Комнату... ха, ха, ха!
- Хорошо, хорошо... хе, хе, хе!
- Они опять посмеялись и разошлись.

Глава II

Рождение Полиньки

Прошло много дней, а горбун не являлся за своими платками. Пришедши раз к Надежде Сергеевне, Полинька застала ее в слезах. Она не спешила расспрашивать, но Кирпичова сама начала:

– Я с мужем поссорилась.

– Не в первый раз, я думаю?

– Разумеется; но знаешь ли, за что он рассердился сегодня? за горбуна: зачем я неласково его принимаю! А я, признаться, его не люблю, хоть муж и превозносит его, даже называет своим благодетелем.

– Мне кажется тоже, что он добрый старик, – заметила Полинька. – Какие страшные истории рассказывает!

– Разве он у тебя был? – с удивлением спросили Кирпичова.

– Да, он принес мне работу, да что-то за ней не идет.

– Странно! – сказала Надежда Сергеевна. – А сам просил мужа познакомить его с тобою и все о тебе расспрашивал меня.

– А, понимаю! – смеясь, сказала Полинька. – Верно, он боится, что я ему долгу не заплачу. Ну, пускай придет. Да он, право, предобрый, и как только узнал, что я с тобой знакома, сейчас дал денег. Я ему очень благодарна... Вот он бы на меня рассердился, зачем я заняла у него.

– А писем еще не получала? – спросила вдруг Надежда Сергеевна.

– Нет, – с тяжелым вздохом отвечала Полинька.

– Завтра твое рождение.

Полинька смутилась и поспешила оправдать Каютина.

– Верно, в дороге, – сказала она.

– Он писал, что приехал в деревню к своим старым знакомым?

– Да.

– И после уж не писал? Да он тоже ветреник и беспечен, как мой муж.

– Что же делать! Молод еще: остепенится.

– Дай бог!

И Надежда Сергеевна сомнительно покачала головой.

Так они долго толковали, и, наконец, Кирпичова ясно высказала, что боится знакомства Полиньки с горбуном. Полинька звонко смеялась и шутила, что сама начинает чувствовать к нему влечение. -

У окна своей мастерской башмачник прилежно вдергивал шнурки в новенькие ботинки. Наконец он поставил их на стол, присел и долго осматривал со всех сторон. Довольная улыбка озарила его лицо; он начал их гладить, потом опять поставил, отошел далеко и любовался. Огромные стенные часы с неуклюжим розаном на циферблате вдруг зашипели, точно их стали поджаривать, и скоро потом прозвучали три печальные и напряженные удара, кончившиеся долгим гуденьем. Башмачник встрепенулся, по пальцам счел часы и, осторожно поцеловав ботинки, как будто они уж были на чьих-нибудь ножках, спрятал их в комод. Потом он оделся, завязал в платок несколько пар башмаков разных фасонов и величин и вышел со двора. Проходя Струнниковым переулком, он все что-то рассчитывал и улыбался... Наконец он вошел в один дом. В небольшой кухне, очень грязной, люди, тоже не очень чистые, толкались и ссорились: кому идти в лавочку за уксусом; а уксус понадобился барыне, которая поссорилась за столом с барином, отчего у нее заболела голова. Кто лизал блюда, снятые с господского стола, кто пил кофе; говорили все разом, и каждый старался перекричать другого. При появлении башмачника крик на секунду умолк; но никто не отвечал на его учтивый поклон. Он покло-

нился еще и еще – то же безответное презрение. Ссора возобновилась с такими резкими выражениями, что башмачник краснел и морщился, наконец, потеряв надежду, чтоб его заметили, он решился возвысить голос:

– Доложите господам, что башмачник пришел.

– Есть у нас время! подождешь! – крикнула горничная, допивая чашку кофе.

– Мне нужно домой итти, – возразил башмачник.

– Да ступай куда хочешь! кто тебя держит! – подхватил раздраженный, засаленный лакей, которому выпал жребий итти в лавочку. (Ничто в кухне не делалось иначе, как по жребию: каждый отговаривался: «не мое дело!»)

Башмачник покорился своей участи. Переминаясь с ноги на ногу, он слушал, как люди бранили своих господ.

– Матрена, а Матрена! – крикнула кухарка, очищая блюдо пальцем, который потом облизывала.

– Что тебе?

– Поди доложи барыне...

И кухарка указала тем же пальцем на башмачника.

– Вот тебе на! поди-ка сама доложи! – провизжала горничная.

– Виданное ли дело: кухарке лезть в комнаты! да и барыня обругает.

– Да тебя давно не бранили, так поди попробуй; я сегодня уж свое получила!

– А зачем не разгладила? сама виновата! – заметила судомойка, выжимавшая что-то у корыта.

– Эй, ворона! ты что раскаркалась? – с презрением возразила обиженная горничная.

Вошла кормилица с грудным ребенком.

– Что же укусу? – сказала она. – Барыня спрашивает.

– Нету еще, – отвечала горничная.

– Сердится... слышите, сердится! – заметила кормилица и, взяв со сковороды жареную картофелину, сунула ее ребенку в рот. – Поди скажи, что сейчас принесут, – сказала кухарка.

– Не родить же нам! – прибавила горничная. Башмачник попросил кормилицу доложить о нем барыне.

– Сейчас. А вы скоро принесете башмачки моему Алеше?

– На будущей неделе, – отвечал башмачник. Кормилица ушла.

– Матрена, а Матрена, – заметила кухарка, – поди-ка, я думаю, мамка-то наслетничает на тебя барыне?

– Велика важность! – отвечала горничная и с гневом опрокинула допитую чашку.

Кормилица вернулась и повелительно сказала башмачнику:

– Велено после притти!

Бледное лицо башмачника на минуту все вспыхнуло и потом стало еще бледнее.

– Я уж долго ждал, – заметил он взволнованным голосом.

– Барыня велела притти после! – возразила кормилица грубо.

– Когда же? – робко спросил башмачник.

– После!!! – закричали в один голос все бывшие в кухне.

Башмачник опрометью кинулся вон. В глазах его было темно; в ушах звенело роковое «после», и сердце громко билось. Он шел скоро и через полчаса остановился у красивого одноэтажного домика. Увидав, что ставни его заперты, башмачник испугался и оторопел. Будто не веря своим глазам, он ходил мимо домика, всматривался, читал надпись и, наконец, постучался в калитку. Спустя не меньше десяти минут выглянул дворник и грубо крикнул:

– Кого надо?

– Господа здесь еще?

– Слеп, что ли? с неделю, как уехали!

– Как можно! – с испугом возразил башмачник. – Они велели зайти через месяц, а я вот раньше пришел.

– Мало ли что велели! много вас перетаскалось!.. Говорят тебе, с неделю, как уехали.

Так прикрикнул дворник на бедного башмачника! Карл Иваныч повесил голову и стоял в нерешимости.

– Ну, жди, коли охота есть! месяцев через шесть воротятся! – сказал дворник и, бросив на него презрительный взгляд, захлопнул калитку.

Стук калитки образумил башмачника; он осмотрелся и скорым шагом пошел прочь.

Через час Карл Иваныч взбежал по темной и узкой лестнице в самый верх огромного пятиэтажного дома и, тихо отворив единственную дверь чердака, вошел в прихожую с стеклянной перегородкой, за которой находилась кухня. Навстречу ему вышла седая старушка и с ласковым поклоном указала на дверь во внутренние комнаты. Башмачник вошел в небольшую, чистую комнату, убранную очень бедно; в ней было человек пять детей: кто пел, кто бегал, а самый маленький ползал по полу, на котором сидела девочка лет девяти и штопала детские чулки, поминутно поглядывая на своего брата, тянувшего за игрушкой.

Увидав Карла Ивановича, дети кинулись к нему с радостным криком: «Башмаки новые принесли!..» В одну минуту Карл Иваныч наделил их – кого сапожками, кого башмаками, и дети любовались обновками. Вошла пожилая женщина, бледная и печальная; дети тотчас обступили ее, крича: «Мама! Посмотри, новые башмаки!»

– Хорошо; не кричите!.. Здравствуйте, Карл Иваныч! вы детям принесли башмаки?

– Да-с; извольте хорошенько примерить, впору ли?

Дети расхаживали по комнате, любясь своими ножками:

– Всем впору, – сказала их мать и замаялась.

Башмачник тоже медлил завязывать свой узел.

– Я... я вас хочу просить... подождать деньги, – нерешительно сказала печальная женщина.

Башмачник побледнел.

– Нельзя ли хоть сколько-нибудь? – спросил он умоляющим голосом.

Печальная женщина сильно смутилась и молча пошла в другую комнату. Скоро она вернулась в сопровождении худого, почти зеленого, сгорбленного мужчины.

– Извините... подождите немножко, – сказал он с страшным кашлем, который заглушал его слова. – Я, видите, заболел: так, знаете, поиздержался на лечение. А вот, – продолжал он с улыбкой, которую странно и больно было видеть на его изнуренном, поблекшем лице, – вот я скоро оправлюсь, так...

Сухой кашель, хватавший за душу своим звонким дребезжаньем и стоном, помешал ему договорить.

Башмачник так сконфузился, что начал просить извинения и кланяться; слезы дрожали на его ресницах. Он торопливо ушел и, спускаясь с лестницы, уже не удерживал больше слез, которые обильно потекли по его щекам.

– Карл Иваныч! Карл Иваныч! – слышалось сверху.

Башмачник воротился. Бледная женщина встретила его.

– Извините, – сказала она, подавая ему десять рублей, – ей-богу, больше ни гроша нет!

– Нет-с, не, надо... я после приду!

И башмачник замотал головой; но глаза его не могли оторваться от денег.

– Возьмите, пожалуйста! только подождите остальные.

– Виноват... очень нужно! я, впрочем, могу...

Башмачник боролся с самим собой. Наконец он протянул руку, которая дрожала, и взял деньги.

– Благодарю, очень благодарю!.. извините... я очень благодарен!

И он без конца извинялся и благодарил бедную женщину, которая отдала ему последние деньги.

Через минуту башмачник радостно бежал к Гостиному двору. Вдруг что-то попало ему под ноги и далеко отлетело вперед. То был портфель с бумагами и деньгами. Башмачник прищурился, увидав столько денег в своих руках; голова его закружилась. Подумав, он вынул двухсотенную бумажку... но вдруг весь содрогнулся, поспешно сунул ее назад и стал оглядывать улицу. Завидев черневшую вдали фигуру, он пустился за ней и скоро догнал человека пожилых лет, с величавой и строгой наружностью, хорошо одетого и вооруженного палкой с золотым набалдашником.

– Ваше благородие! – крикнул башмачник задыхающимся голосом.

Но величавый господин не слышал его и шел своей дорогой.

Башмачник слегка придержал его за плечо. Быстро повернулся величавый господин; в глазах его молнией сверкнуло негодование; он с презрением оглядел с ног до головы оторопевшего башмачника, и палка его немного приподнялась.

– Что тебе надо? – спросил он строго.

Башмачник смотрел на него с удивлением и молчал.

Величавый господин вспыхнул и, подступив к самому его носу, тихо и мерно повторил:

– Что тебе надо?

Башмачник, потерявший способность говорить, робко протянул портфель. Величавый господин торопливо ощупал свои карманы, и смесь ужаса и радости быстро сменила в его лице выражение благородного негодования. Выхватив портфель, он проворно пересмотрел деньги, потом бумаги и, наконец, благосклонно сказал:

– Мой, мой! я выронил!

Неловко поклонившись, башмачник пошел прочь.

– Постой! – крикнул величавый господин и опустил руку в карман. – На, возьми!

И он показал ему целковый.

Башмачник с недоумением смотрел то на целковый, то на величавого господина. Величавый господин достал еще целковый и, присоединив к прежнему, повторил:

– Возьми! вот тебе на водку.

Башмачник сконфузился, начал кланяться, извиняться – и вдруг побежал прочь. Величавый господин пожал плечами и с прежней торжественностью продолжал свой путь.

А башмачник прямо отправился в Гостиный двор; он обошел все лавки: сначала смотрел и торговал шелковые материи, потом ситцевые, приценивался к разным платкам и серьгам и, наконец, решился купить браслет; но цена была высокая, и купец, заметив, что ему сильно хотелось браслета, ничего не уступал. Денег не хватало; башмачник чуть не со слезами просил уступить, а купец все твердил свое: «Одна позолота дороже стоит!» В совершенном отчаянии Карл Иваныч сел на ступеньку лестницы, ведущей в верхние лавки, и обеими руками ухватился за свою горячую голову. Узел с остальными башмаками покатился с его колен; башмачник вдруг встрепенулся, радостная улыбка вдруг осветила его лицо, и он побежал с узлом своим, в Перинный ряд; сбыв там за бесценок, свою работу, башмачник, прыгая, как ребенок, явился к продавцу браслета. Купец встретил его насмешливой улыбкой, и долго они спорили о коробочке; купцу хотелось взять за нее особо. Наконец браслет куплен, башмачник осторожно спрятал его и пошел домой. Дорогой он поминутно улыбался и щупал карман, справляясь, не обронил ли свое сокровище.

В одной улице рябой мальчишка подставил к самому его носу горшок роз.

– Купи, барин, цветочков! – прокричал он протяжно, сжимая в объятиях два такие же горшка. – Нет, лучше купи снигирика! – провизжал, откуда ни взявшись, другой мальчишка, косой и довольно буйного вида.

Перед носом башмачника очутилась клетка.

Он остановился и задумался, посматривая то на цветы, то на птицу.

– Что хотите за все?

– Барин, птица не моя! ты купи цветочки; всего два рублика серебром.

– Что ты, что ты? – возразил башмачник, нахмутив брови.

– Купи птичку! я дешево отдам!

– Возьми цветочки... я уступлю, только не бери его птицу: завтра же околует!

– Ах ты, рыжий Алешка! вот я тебя...

И косой мальчишка погрозил рябому кулаком, а потом опять обратился к башмачнику:

– Купи, барин! как важно поет! Он начал свистать.

– Сам свистишь... ха, ха, ха! – заметил рябой. – Возьми, барин, цветы, ей-богу, даром отдам!

– Хочешь два четвертака?

– Дешево! дай три рублика! право, хорошие.

– На, возьми птицу! давай деньги!

И косой мальчишка старался ввернуть башмачнику клетку.

– Нет, возьми мои цветы!

– Нет, мою птицу! И они совали ему в руки кто клетку, кто цветы.

Он взял клетку и отдал деньги. Косой, припрыгивая, дразнил ими цветочника.

– Барин! – жалобно заговорил цветочник: – ты у меня прежде торговал: возьми! ей-богу, даром отдам; а птицу ему вороти. Полтинник беру; на!

И он подступил к нему с цветами.

Башмачник купил и цветы. Он заключил их в объятия, а в середине поддерживал клетку, обвязав ее платком, чтобы птица не билась, и так, тихим шагом, поплелся домой. Дикие крики заставили его оглянуться; вцепившись друг другу в волосы, мальчишки свирепо дрались, визжа и ругаясь.

Первым его движением было воротиться и разнять, но дорогая ноша мешала, и, качнув головой, он скорее пошел вперед.

Прийдя домой и встретив в сенях Катю и Федю, Карл Иванович дал им по грошу, чтоб они не говорили тете Поле, что у него есть цветы и птица. Долго любовался он своими покупками и с улыбкой заснул в ту ночь. Рано утром пробудило его чирикание снигиря, который страшно суетился и прыгал по клетке, ища выхода. В то утро много времени посвятил башмачник своему туалету: гладко причесал свои светло-русые волосы, надел белый жилет, белый галстук, снял малейшую пылинку с своего синего фрака, наконец осмотрелся перед зеркалом и остался доволен. Нетерпеливо выжидая, когда Полинька пойдет в Церковь, чтоб поставить ей цветы и клетку, он не знал, как убить время: нюхал розы, кормил снигиря, чистил браслет, принимался снова смотреться в зеркало и раза три перевязывал галстук.

Наконец Полинька, чудесно одетая, спустилась с лестницы и прошла мимо окон; любясь ею, он забыл все и долго стоял задумавшись, потом тяжело вздохнул, бережно взял клетку и поднялся наверх. Отыскав ключ, который Полинька иногда отдавала хозяйке, а иногда прятала в щель у порога, башмачник отпер комнату, сбегал за цветами и, поставив клетку на середину окна, а розы по сторонам ее, долго любовался эффектом своих подарков, потом невольно осмотрел всю комнату, заглянул в зеркало, оправил волосы и, наконец, медленно и неохотно вышел. Он запер дверь, спрятал ключ на старое место и, прийдя в свою мастерскую, сел у окна дожидать Полиньку.

Она воротилась грустная: мысль, что Каютин забыл, что нынче ее рождение, страшно огорчала ее. Переступив порог своей комнаты, Полинька остановилась, не веря своим глазам. Понемногу лицо ее прояснилось; не снимая шляпки, она подбежала к окну, нюхала цветы, рассматривала снигиря и радостно повторяла: «Какая птичка! какие цветы!» Горе хоть на минуту было забыто: Полинька ловила снигиря и смеялась; поймав, нежно целовала его, прикладывала

к щеке и слушала, как билось сердце у птички, которая, схватив ее палец, зло теребила его. Полинька продолжала смеяться все веселей и беспечней. Дверь скрипнула. Полинька, пустив снигиря в клетку, спросила: «Кто там?» За дверью слышалось легкое движение, но никто не являлся. Занятая подарками, она подумала, что ошиблась, и в упоении начала нюхать цветы.

За дверью стоял башмачник. Он любовался радостью Полиньки. Сердце его было переполнено счастьем и сильно билось, как у птички, которую ласкала Полинька; радостные слезы текли ручьями на его белый жилет, и он торопливо сбежал с лестницы, опасаясь зарыдать.

Через несколько минут к Полиньке вошли Катя и Федя, неся на тарелках крендели и сахарные булочки, красиво уложенные; детьми управлял башмачник, замыкавший шествие.

– Карл Иваныч!.. а, дети!

И тронутая Полинька приняла подарки и перецеловала детей.

– Это они сами вам принесли! – сказал Карл Иваныч дрожащим голосом. – Поздравляю вас, – продолжал он чуть слышно, – поздравляю вас с днем вашего рождения.

Он подал ей сверток с теми ботинками, которые вчера целовал, и коробочку с браслетом.

Полинька немного покраснела. Она горячо благодарила Карла Иваныча и поспешила надеть браслет, который особенно ее обрадовал.

– Очень, очень благодарю вас, Карл Иваныч! как хорош! потрудитесь застегнуть.

И она протянула ему руку. Он схватил ее, стал застегивать... но Полинька стояла к нему так близко! коснувшись ее руки, он весь задрожал, в глазах его помутилось: он схватился за свою голову и остолбенел.

– Что с вами? – спросила Полинька.

– Ничего-с! – отвечал башмачник глухим голосом. – Так...

И показал пальцем на голову.

– Не хотите ли воды?

– Нет-с.

И в самом деле, лицо его покрылось яркой краской.

– Не знаете ли, – спросила Полинька, – кто мне подарил цветы и снигиря? я была в церкви; прихожу: на окне цветы и клетка, – и так обрадовалась! Неужели Надежда Сергеевна так рано приходила ко мне? вы ее не видали?

Полинька пристально посмотрела на него; он страшно сконфузился, потупил глаза и не знал, что сказать.

– А, понимаю! – весело сказала Полинька. – Я вам очень благодарна, Карл Иваныч; вы меня балуете.

И она кокетливо посмотрела ему в лицо. Он бодро приподнял голову, – глаза горели бесконечным блаженством. – Садитесь, Карл Иваныч. – Я все сидел! – печально сказал башмачник и сел.

– Вы много тратите на пустяки, – с упреком сказала Полинька.

– Боже! да я готов был бы все, все отдать... чтоб...

Башмачник не договорил, увидав краску на лице Полиньки, которая быстро повернулась к клетке и начала дразнить пальцем снигиря. Снигирь сначала испугался, а потом стал щипать и клевать палец. Башмачник молчал, повеся голову. Дети болтали, раскладывая крендели и булочки по столу:

В таком положении застала общество Надежда Сергеевна.

– Здравствуй! поздравляю тебя, Поля!

Она поцеловала ее и подала ей сверток. В нем было кисейное платье. Полинька еще раз поцеловала свою подругу и долго любовалась подарком.

– Ах, а кофей... я и забыла... сейчас приду.

Полинька убежала и, воротившись скоро, накрыла стол и собрала чашки.

Не успели они усесться кругом стола в ожидании, кофе, как послышалась тяжелая поступь со скрипом, и скоро высунулось из дверей выбритое, улыбающееся лицо, а затем показалась и целая человеческая фигура.

– Мое почтение! мое почтение! – говорил Доможиров, раскланиваясь каждому особо.

Он не только выбрился, но и приоделся – в светло-коричневый сюртук, широкий и длиннополый, с пуфами на плечах, с мелкими сборками по бокам, предназначенными резче обозначать талию, и с преогромным воротником, который торчал, как хомут, около его шеи и закрывал голову до половины ушей. Странно и жалко было видеть его не в халате; ему, очевидно, было неловко, и он поминутно искал руками кушака, чтоб затянуться покрепче.

Поздравив Полиньку, Доможиров спросил:

– Небось много подарков получили... а?

– Да, много.

Полинька посмотрела с благодарностью на Кирпичову и Карла Ивановича.

– Прекрасно! только, знаете, уж, верно, такого подарочка никто вам не принес, как я...

Извините-с.

И он поклонился Полинькиным гостям.

– Ну, как вы думаете, какой? – продолжал Доможиров подбоченясь.

– Я, право, не знаю... благодарю вас. – Нет, однакож?

– Не знаю.

– Ну-с, извольте сказать, какой подарочек был бы теперь вам всего милей?

И он лукаво улыбался.

– Уж не письмо ли? – с живостью спросила Надежда Сергеевна.

– Ах, неужели? – радостно вскрикнула Полинька. Глаза ее заблестали, и, протянув к Доможирову дрожащую руку, она сказала умоляющим голосом:

– Ради бога, дайте скорее!

– Я, знаете, иду сюда, – начал медленно Доможиров, достав со дна своей высокой шапки с длинным козырьком, подобным бекасиному носу, письмо и повертывая его в руках, – глядь: почтальон! «Ты, брат, не к девице ли Климовой?» – «Точно так-с, ваше благородие!..» – «Ну, так дай – я передам...» Дал ему на водку и взял письмо. Ну, думаю: вот удружу, вот подарю!

И он совершенно некстати расхохотался. Слушая рассказ, все окружили его, и Надежда Сергеевна, сжавшись над нетерпением Полиньки, сказала:

– Ну, дайте же ей скорее письмо!

– Погодите.

Доможиров приподнял кверху письмо и спросил Полиньку:

– Его, что ли, рука!.. а?

Вместо ответа Полинька подпрыгнула и выхватила письмо.

– Его, его рука! – вскрикнула она радостно.

Грудь ее высоко поднималась, в глазах блеснули слезы; она нерешительно осматривалась кругом, будто выбирая место, где бы удобнее прочесть письмо, – наконец распечатала и стала читать. Башмачник не спускал с нее глаз и с беспокойством заметил, что лицо ее сначала вспыхнуло, потом побледнело, руки дрожали. И вдруг она выронила письмо, закрыла лицо руками и отвернулась к стене.

Доможиров захохотал. Гости с удивлением смотрели на него и на Полиньку.

– Не случилось ли чего с Каютиным? – спросила Надежда Сергеевна.

Доможиров то садился, то вскакивал, нагибался, подбирал живот; но хохот пронимал его все пуще и пуще, и никакая страшная весть – коснись она даже уменьшения ломбардных процентов – не могла теперь унять его.

– Плачет... плачет! – отчаянным голосом проговорил башмачник, указывая на Полиньку, которая стояла в прежнем положении и всхлипывала.

– Что такое? что случилось? – с испугом спросила Надежда Сергеевича.

Но Полинька, не отвечая, положила голову на плечо своей приятельницы и продолжала плакать.

Башмачник гневно махал руками Доможирову, чтоб он унялся; но хохот Доможирова перешел в ту минуту в отрывочные стоны, а лицо побагровело. Не в его власти было остановиться.

Вдруг башмачник прыгнул к письму, поднял его и с удивлением прочел следующее:

«Пытка в Бухарии происходит следующим образом. Чтоб человек повинился или стал неволею к чему преклонен, кладут в большое деревянное корыто с пуд соли, наливают в оное воды горячей; когда же разойдется и вода остынет, тогда, связав в человека, коего мучить хотят, влагают ему в рот деревянную палку и, повалив его на спину в корыто, льют соленую воду в рот, от которого мучения через день умирает; если же кого хотят спасти, то после каждого мучения дают пить топленого овечьего сала по три чашки, которое всю соль вбирает и очищает живот; потом кладут пшеничной муки в котел и, поджарив оную, мешают с водой и овечьим топленным салом и варят жидко, и сею саламатою кормят мученика, коего хотят оставить в живых. Я таким образом был мучим три дня.

Взял Афанасий Доможиров из книги Странствования Надворного Советника Ефремова в Бухараии, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию. Год 1794...»

Башмачник молча передал письмо Кирпичовой. Прочитав несколько строк, она вопросительно посмотрела на Карла Иваныча, Карл Иваныч также посмотрел на нее, как вдруг Доможиров, который удерживался, пока читали письмо, снова расхохотался. Надежда Сергеевна вспыхнула.

– Как вам не стыдно, Афанасий Петрович, – сказала она с негодованием, – такие шутки выдумывать! Поля, перестань, – продолжала Кирпичова, поцеловав Полиньку в голову. – Все пустяки: Афанасий Петрович пошутил!.. Вам одним смешны ваши шутки! – прибавила она, обратясь к Доможирову, продолжавшему смеяться.

Полинька приподняла голову, поправила волосы, сквозь слезы улыбнулась, увидав его гримасы. Заметив улыбку Полиньки, и все обратили внимание на Доможирова и, увлеченные его веселостью, стали смеяться. Комната наполнилась весельем; всех громче смеялись и визжали дети. Доможиров охал, отчаянно поводил глазами и, встречая чей-нибудь взгляд, делал умоляющие жесты, чтоб его пощадили, а потом снова принимался хохотать. Наконец его стали расспрашивать.

– Как же вы могли на конверте под его руку подписаться? – спросила Полинька.

– Я подписаться? ха, ха, ха! Нет, под чужую руку я никогда не подписывался; рука его собственная... Помните, недельки три тому назад вы при мне получили письмо. У, как заторопились! поскорей читать, а конверт бросили. Я его и цап. Тогда же подумал... ха, ха, ха! скоро рожденье Палагеи Ивановны: нужно будет подарочек сделать... ха, ха, ха! Взял «Странствования Надворного Советника Ефремова», – его, бывало, как ни придет ко мне, все читал Тимофей Николаич, – выписал страничку, припечатал... вот и подарочек... ха, ха, ха!

Дверь отворилась: вошла хозяйка с огромным кофейником, одного цвета с ее лицом. Раскланявшись со всеми и случайно взглянув на окно, она презрительно засмеялась.

– Ну, уж верно, вы, Карл Иваныч! это по-немецки... ха, ха, ха! у нас, по-русски, так вот как дарят!

И взяв со стула кисею, она с укором показала ее башмачнику. Он растерялся, и мучительная мысль, не в самом ли деле его подарки ничтожны, сжала его сердце. Но вспомнив, как обрадовали Полиньку и цветы и снигирь, он успокоился.

– Ну, а вы что подарили? небось котеночка? – обратилась хозяйка к Доможирову.

– Нет-с, мы получше подарочек сделали, – отвечал он, самодовольно улыбаясь при воспоминании о своей остроумной шутке.

– Я думаю, дорогонько стоит? – спросила девица Кривоногова, вытянув во всю длину свою огромную красную руку с кисеей, и вопросительно озираясь; но никто не отвечал ей; поискав глазами, нет ли еще каких подарков, она вскрикнула: «Ахти! я заболталась... чего доброго, пирог испорчу!» и кинулась к двери, но, отворив ее, остановилась.

– Пожалуйте-с, – говорила она, – дома-с, дома! у нас сегодня праздник.

Все с любопытством обратились к двери: скоро показалась маленькая фигура горбуна. Он весь необыкновенно блестел: все платье на нем было новое, волосы с легкой серебристой проседью, сильно напомаженные, лоснились. Горбун подошел к руке Полиньки, которая очень удивилась его появлению и вопросительно смотрела на Кирпичову. Кирпичова утвердительно мигнула ей, и Полинька подала ему руку и слегка коснулась губами его лба. Он побагровел, и лицо его дергалось. Вынув из кармана сафьянную маленькую коробочку и почтительно подавая ее Полиньке, горбун скоро проговорил:

– Я вчера имел счастье узнать от Надежды Сергеевны, что сегодня день вашего рождения; не имея этой вещицы, я никогда не посмел бы притти поздравить вас...

– Ах, боже мой! мое колечко!

И Полинька вспыхнула... Она не верила своему счастью. Ровно год, как подарил ей Каютин это кольцо. Сильно грустила по нем Полинька и думала, что если б оно было на ее пальце, то ей легче было бы переносить разлуку с Каютиным. Теперь она не находила слов благодарить горбуна и смотрела на него с такою благодарностью, что он, как бы поняв ее, протянул ей руку. Она крепко пожала его уже старую руку своей беленькой, нежной ручкой, которую он поспешил поцеловать, и на этот раз Полинька напечатлела крепкий поцелуй на его щеке. Лицо его опять передернулось, и было что-то страшное в его больших, горящих глазах, устремленных на Полиньку.

Ничего не помня от радости, она любовалась своим колечком, которое уже красовалось на ее пальце.

Башмачник с жадностью следил за движениями Полиньки. Ее улыбка отражалась, как в зеркале, на его лице. Но вдруг он задумался: ему пришла мысль, зачем он тоже не подошел к руке Полиньки, и бедный башмачник мысленно проклинал свою застенчивость и завидовал горбуну. Горбун, раскланявшись с присутствующими, сел у стола.

– Не угодно ли чашку кофе? – спросила Надежда Сергеевна, видя, что Полинька слишком занята кольцом.

– Ах, извините, я забыла! сейчас!

И Полинька налила чашку и хотела подать горбуну; но вдруг рука ее задрожала, чашка упала и пролилась. С криком кинулась она к двери, в которой появился почтальон, с письмом.

– Здесь госпожа Климова? – спросил он басом.

– Я... мне...

И Полинька выхватила у него письмо, дрожащими руками распечатала и стала читать; довольная улыбка, полная спокойствия и счастья, в одну минуту разлилась по ее красивому личику. Все внимательно глядели на нее; Надежда Сергеевна спросила:

– От него?

– Да! да! – весело отвечала Полинька, не отрывая глаз от письма.

Горбун насмешливо глядел на Полиньку.

– Вы прежде десять-то копеек почтальону отдайте, – сказал Доможиров, мешая ей читать, – а уж потом читайте. Ведь вот дождались-таки и еще письма, – мало одного было!

И он расхохотался.

– Сейчас, сейчас! – с досадою отвечала Полинька, продолжая быстро читать письмо.

Башмачник вынул из своего белого жилета десять копеек серебром и подал почтальону.

– Благодарствую! – басом крикнул почтальон и оставил комнату.

Глава III

Карты сказали правду

Поступок горбуна расположил в его пользу даже недоверчивую Надежду Сергеевну. Впрочем, горбун сначала не часто ходил к Полиньке и даже не всегда являлся на приглашения.

Полинька не скучала с ним, его рассказы, то страшные, то веселые, сокращали время, которое без Каютина казалось ей слишком длинным. Наступили бесконечные зимние вечера, и Полинька часто сама упрашивала горбуна посидеть подольше. Горбун много видел, много испытал, и разговор его не мог скоро наскучить. Все чаще и чаще посещал он Полиньку, и нередко ему случалось просиживать с ней целые вечера с глазу на глаз. В такие дни он делался особенно весел, шутил, показывал разные фокусы на картах, гадал Полиньке, и всегда так удачно, что она иногда сама просила его погадать. Иногда он показывал ей золотые и бриллиантовые вещи, говоря, что несет их заложить или продать, и просил ее примерить серьги или браслет. Полинька, любившая наряды, засматривалась на себя в брильянтах и с грустью расставалась с ними. Горбун позволял ей иногда оставаться в них целый вечер, и странно было видеть девушку, очень просто одетую, с работой в руках – и в таких дорогих украшениях. Глаза Полиньки еще ярче горели от удовольствия, и горбун, будто любясь игрою и блеском своих брильянтов, не сводил с нее глаз.

Горбун умел так хорошо поставить себя в ее маленьком обществе, что примирил с собой всех. Он при случае льстил с такою искренностью, что нельзя было не верить ему, – с Полинькой же обходился очень просто, при посторонних не пропускал случая сделать ей наставление и вообще принял с ней тон отца. Случалось, и то очень редко, он делал ей подарки, но всегда незначительные; когда же она отказывалась, он с грустью говорил:

– Палагея Ивановна, у меня нет дочери, которую я мог бы любить и баловать.

С хозяйкой дома он также сдружился. Они беседовали иногда по целым часам; но их трудно было понять: неоконченные фразы дополнялись улыбками, выразительными жестами и прищуриванием глаз. Горбун заметно худел; что-то тревожное проявлялось в его движениях и взглядах. Иногда он приходил одетый очень тщательно; его прекрасные выющиеся волосы блестели, и в комнате при его появлении распространялся запах нежных духов. Зато бывали дни, когда он являлся нечесаный, небритый, с глазами впалыми и блуждающими. Его движения были порывисты и судорожны; он больше молчал, а если говорил, то слова его отзывались такою желчью и горечью, рассказы были так мрачны, что Полинька в такие дни боялась его.

Так прошло много времени. Наступила весна.

Уже несколько дней сряду горбун ходил как потерянный: то нападали на него припадки иступленной веселости, то вдруг брови его хмурились, он смотрел угрюмо и молчал. С некоторого времени он уже постоянно посещал Полиньку каждый вечер, а если не заставал ее, то дожидался, расхаживая по Струнникову переулку.

Было около восьми часов вечера; девица Кривоногова сидела перед столом и гадала: сложив свои масляные руки на животе, она глядела на разложенные карты и кого-то энергически бранила. Это занятие до того поглощало ее внимание, что она не заметила прихода горбуна. Мрачный, нечесаный, он стоял перед ней и вслушивался; лицо его было бледно, и злая улыбка дрожала на его синих губах.

– На кого вы это сердитесь? – спросил он с усмешкой.

Хозяйка вздрогнула, вскочила и с удивлением смотрела на горбуна.

– Ну, о чем гадаете? а?

– Как вы тихо вошли: я и не слыхала!

– Еще бы вы громче бранились!

– Да что, прости господи, чего только ей не лезет! посмотрите!

И хозяйка указала на карты.

– Эва! свадьба, нежданное богатство, деньги, пиковый король крепко думает о ней, перемена... тьфу!

Хозяйка в негодовании плюнула; но вдруг лицо ее просияло.

– Ах, боже ты мой! – воскликнула она: – я туза-то и проглядела! да! ну теперь не то: ей будет большая неприятность! слезы, слезы!

И хозяйка била кулаком по карте, которая предсказывала слезы.

– Где вы научились гадать? – насмешливо спросил горбун. -

– Самоучкой! – с гордостью отвечала девица Кривоногова.

– Да-с! и моя покойница матушка мастерица была гадать; я около нее и понаторела.

– Хорошо. Ну-с... дома?

– Дома.

– Одна?

И горбун глазами указал на потолок.

– Одна! – быстро отвечала хозяйка, смешивая карты.

Горбун нахмурил брови, стиснул зубы и судорожно сжал свою палку, потом стукнул ею об пол, поднял голову и прошептал дрожащим голосом:

– Если спросят...

– Дома нет! – отвечала хозяйка.

Горбун одобрительно кивнул головой.

– Мне нужно... – заговорил он.

– Переговорить? – подхватила хозяйка, улыбаясь своей проницательности.

– Хорошо! – благосклонно заметил горбун.

Он походил в ту минуту на учителя, который экзаменует своего ученика и, довольный его ответами, улыбается и потирает руками. Оглядев комнату, горбун привстал на цыпочки; хозяйка проворно подставила ему ухо: горбун что-то шепнул ей и сунул в руку что-то звонкое.

Лицо хозяйки покрылось фиолетовыми пятнами; глаза подернулись маслом; она крепко сжала свою руку. Горбун медленно вышел из кухни и побрел на лестницу; почти на каждой ступеньке он останавливался, будто не решаясь идти далее, но вдруг разом перескочил несколько ступенек и с шумом отворил дверь. Полинька встала принять гостя; горбун, по своему обыкновению, подошел к ее руке и, поцеловав ее, медлил оставить. Полинька покраснела и поспешила высвободить свою руку.

– Как вы поживаете? – рассеянно спросил горбун и сел.

– Я здорова, – отвечала Полинька и с любопытством смотрела на горбуна, который потупил голову и задумался.

Так прошло с минуту. Вдруг он неожиданно поднял голову, глаза их встретились. Полинька быстро наклонилась к своему шитью; щеки ее вспыхнули ярким румянцем. Горбун приподнялся на своем стуле; глаза его страшно блестели; он весь превратился в зрение.

Полинька в ту минуту была необыкновенно привлекательна; краска, мгновенно вспыхнувшая, оставила в ее лице легкие следы и придавала особенную живость ее нежной коже. Опущенные глаза в полной красе выказывали ее длинные и густые ресницы; черные волосы с влажным отливом до того блестели, что горбун мог бы увидеть в них свое уродливое изображение. Она низко нагнулась к шитью, чтоб укрыться от глаз горбуна. Платье резко обрисовывало ее грациозные формы, и ускоренное дыхание придавало жизнь каждому ее волоску.

Горбун быстро встал и начал ходить по комнате. Полинька боялась поднять голову, чтоб опять не встретиться с его глазами.

В нем заметно было страшное волнение; горб его, казалось, колыхался от судорожных движений. Мерно и тоскливо прохаживался он по комнате, как медведь в клетке.

Вдруг он остановился среди комнаты, как окаменелый, и не сводил глаз с Полинки, – наконец молча подошел к ней и стал гладить ее по голове. Полинька с удивлением подняла голову; но, не обратив внимания на ее движение, он спокойно продолжал ласкать ее, как маленького ребенка. Полинке были неприятны и страшны его ласки; но она боялась обнаружить ему свое неудовольствие и снова наклонилась к шитью. Горбун переродился: его лицо приняло нежное и кроткое выражение; вглядываясь в густые и роскошные волосы Полинки, он то бледнел, то краснел; руки его дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Полинька чувствовала сильное смущение и уклонилась головой от его ласк. Горбун как бы испугался; он судорожно прижал ее голову к своей груди и горячими губами коснулся ее волос. Слабо вскрикнув, Полинька вскочила с своего места, остановилась в недоумении и с отвращением смотрела на горбуна. Он пошатнулся и, прислонясь к стене, закрыл лицо руками и дрожал всем телом, как в лихорадке. Вдруг едва слышный стон вырвался из его груди. Сделав шаг вперед, он дико и пронизательно осмотрелся, но тотчас же с ужасом потупил глаза. Так он стоял, сохраняя совершенную неподвижность.

Полинька не могла понять, что с ним делалось; ей стало жаль горбуна и, помолчав, она робко окликнула его:

– Борис Антоныч!

Горбун с испугом поднял голову.

– Не случилось ли с вами какого несчастья?

– Несчастья? – повторил он, странно улыбаясь, и снова стал смотреть в пол.

– Вы очень скучны; что с вами?

Горбун посмотрел на нее, и в его глазах Полинька прочла бесконечную благодарность за свое ласковое слово. Она ободрилась и свободно продолжала:

– Право, вы сегодня на себя не похожи: отчего вы такой печальный?

Горбун грустно улыбнулся и проговорил слабым голосом:

– Для чего я вам буду рассказывать мои страдания? разве их весело слушать?

– Вы прежде были такой веселый.

– Я был весел для вас... но мне очень тяжело жить. В мои лета невозможно выносить...

– Что же такое случилось! – перебила его Полинька и, отбросив шитье в сторону, с любопытством ожидая ответа.

Горбун молчал. Наконец он с испугом схватил себя за голову и протяжно произнес:

– Меня давит, мне душно!

– У вас болит голова?

– Я весь болен, – слабым голосом отвечал горбун. Он казался самым дряхлым стариком в ту минуту,

– Вам скучно, Борис Антоныч? – Да! – поспешно и тихо пробормотал горбун.

Лицо его вспыхнуло, и он закрыл его руками.

Полинька печально вздохнула и взялась за шитье; в комнате было так тихо, что она могла слышать прерывистое дыхание горбуна. Они молча просидели несколько минут. Полинька задела рукой ножницы, лежавшие на столе, и они с звоном упали на пол. Оба вскрикнули, потом улыбнулись. Горбун нагнулся поднять ножницы, но их не было видно: он стал на колени и пристально всматривался. Полинька немного приподняла платье и прижала к дивану свои ножки. Ножницы показались, и горбун протянул к ним руку; но, увидав ножки Полинки, он оцепенел... Она хотела встать – и коснулась его руки своей ножкой, которую он с силою сжал. Испугавшись, Полинька быстро опустилась на своё место и поджала ноги, как будто на полу лежала гадина.

Горбун был страшен: он весь уродливо изогнулся, горб его сделался огромен, волосы торчали, как щетина, шеи не было видно, и голова и горб – все слилось в одну отвратительную

фигуру, и он в ту минуту скорее походил на чудовище, пораженное красотой женщины, чем на человека.

– Нашли? – спросила Полинька дрожащим голосом. Горбун подал ножницы и прямо смотрел ей в глаза.

Полинька отвернулась и протянула руку; горбун схватил ее и с жаром поцеловал. Полинька сделала движение, чтоб встать, но горбун удержал ее и страстно смотрел ей в глаза.

– Борис Антоныч, что с вами? – бледнея, вскрикнула Полинька.

Горбун ничего не отвечал; он вздрогнул и, как будто испугавшись чего, спрятал свою безобразную голову на колени девушки.

Полинька с отвращением отталкивала его... он целовал ее колени и плакал.

– Борис Антоныч, встаньте! – сердито закричала Полинька, и слезы выступили на ее глазах, и кровь бросилась ей в голову.

Рыдания были ей ответом. Полинька совершенно потерялась. Стараясь оттолкнуть голову горбуна, касаясь с ужасом и отвращением его жестких волос, она дрожала и горела. Стыд, негодование, страх вызвали слезы на ее глаза, и она горько плакала.

Задыхающимся, полным мольбы и рыдания голосом горбун повторял:

– Сжальтесь! сжальтесь над несчастным стариком! пощадите человека, которого никто никогда не щадил!

– Оставьте меня, оставьте! – кричала Полинька всхлипывая.

– О-о-одно слово! скажите хоть одно слово... утешьте старика!

И горбун, весь дрожа, приподнял голову и страстно смотрел на Полиньку. Она с отвращением отвернулась и гневно толкала его прочь, стараясь встать. Но он обхватил ее талию, и голова его упала к ней на грудь.

Переполненная негодованием, захватывавшим дыхание, Полинька вскрикнула, рванулась и привстала.

– Пустите меня! – грозно закричала она.

Горбун ничего не слушал. Он сжимал Полиньку в объятиях, целовал ее платье, обливал слезами ее руки; страшные, отчаянные стоны надрывали его грудь. Он был жалок в эту минуту, он был ужасен. Но Полинька ничего не чувствовала к нему – кроме отвращения. И когда, ослабев, он опустил свои руки, она ловко толкнула его и, вскочив на диван, обежала стол и стала за стулом. Грудь ее высоко подымалась, и, она грозно смотрела на горбуна. Он пытался ее удержать; но силы его оставили, и, как раненый зверь, упал он на диван и судорожно метался, подавляя свои стоны.

Полинька испугалась... Она подумала, что видит предсмертные муки горбуна. Но горбун вдруг вскочил и кинулся к ней с бешеным криком:

– Вы меня слушаете!

Сложив руки на груди, Полинька смотрела на него умоляющим взором.

Он упал перед ней на колени и тихим, рыдающим голосом проговорил:

– Пощадите меня! дайте мне высказать вам...

Лицо Полиньки быстро изменилось: умоляющая женщина превратилась в торжествующую и кинулась к двери, думая убежать. В ту же минуту бешенство исказило черты горбуна, но он не двинулся с места.

– Я вас не хочу слушать! – презрительно крикнула Полинька у двери и толкнула ее.

Но дверь не отворялась... Полинька толкала ее сильнее и сильнее – напрасно!

Дверь была заперта снаружи.

Продолжая толкать ее, Полинька с ужасом оглянулась: горбун встретил ее торжествующим, насмешливым взглядом.

Все поняла Полинька.

– Боже мой! – воскликнула она отчаянным голосом.

Горбун засмеялся.

– Ага! вы теперь выслушаете меня! – сказал он.

Полинька вскрикнула и, пошатнувшись, прислонилась к двери, бледная, как приговоренная к смерти...

Глава IV

Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках Кирпичова и комп.

В тот день, когда происходили события предыдущей главы, часу в десятом утра, Кирпичов, спустившись по теплой лестнице из третьего этажа, где была его квартира, вошел в свой магазин, помещавшийся во втором.

Мы сейчас скажем, каким образом Кирпичов сделался книгопродавцем и обладателем великолепного магазина.

Захватив в свои руки состоянье жены, он сначала, казалось, не имел никакого определенного плана касательно дальнейшей своей деятельности. Верно одно: продолжать прежнее ремесло, ремесло торговца хомутами, шлеями, шорами и разными сырмятными товарами в незначительном провинциальном городке, ему не приходило и в голову. Он бледнел и терялся, когда ему намекали на прежний род его торговли, – сам же о своем прошедшем никогда не говорил. Накупив множество фраков, пестрых жилетов, перстней и булавок, он поставил себе целью удивлять и озадачивать. И действительно, всегда с поднятой головой, с самодовольным и презрительным взглядом, обладая притом громким и резким голосом, в котором повелительная нота звучала так явственно, что, казалось, развитие ее с самых ранних лет никогда не было задерживаемо, Кирпичов достигал своей цели, – уважение же возбуждал непременно и всеобщее, с удивительным искусством в одну минуту давая почувствовать каждому, что у него не меньше миллиона в кармане. Знался он только с лицами избранными, а кутил с теми, которые умели ему льстить и между которыми мог играть первую роль. Словом, по всему было видно, что Кирпичов почитал себя призванным к деятельности более широкой и благородной, чем торговля гужами и хомутами. Но к какой же именно?

Этого, может быть, долго не решил бы и сам Кирпичов, если б ему не помог случай... Раз он был на балу у богатого купца, где в числе разнородных гостей находился и один сочинитель, по фамилии Крутолобов. Сочинитель, по обыкновению своей братии, говорил о литературе... о ее великом и благотворном влиянии... о ее высоком назначении... о ее лучших деятелях (в том числе, разумеется, – преимущественно о самом себе)... наконец, о благородном и высоком призвании тех, которые способствуют ее развитию своими капиталами и которые хотя сами не пишут, не переводят, но в некотором смысле могут назваться литературными двигателями, наравне с первостепенными талантами, и даже более... Словом, Крутолобов тонко высказал такую мысль, что без талантов литература может еще существовать, но без аккуратных, деятельных, расторопных и, разумеется, обладающих огромными капиталами книгопродавцев – решительно не может. Этот разговор произвел сильное впечатление на Кирпичова. Он пожелал познакомиться с сочинителем и пустился в подробные расспросы о книжном деле. Крутолобов знал эту статью превосходно, даже лучше собственного ремесла, и в час успел сообщить Кирпичову множество важных и любопытных сведений. Надобно здесь сказать для большей ясности, что Крутолобов в ту эпоху видел литературу, по его собственному выражению, на краю гибели; другими словами, книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения, наконец был окончательно обобран и пущен по миру: настояла необходимость создать нового, который за честь знаться с сочинителями и пользоваться их печатными похвалами платил бы чистыми деньгами. Вот источник необыкновенного красноречия Крутолобова в тот вечер. Заметив в Кирпичове жадное внимание, он особенно распространился насчет великой чести и славы, сопряженной с званием книгопродавца.

– Имя его, – говорил он, – дойдет до отдаленного потомства, наряду с именами знаменитейших его современников; каждая книга, обязанная ему своим существованием и украшен-

ная, разумеется, его именем, как издателя, будет громко свидетельствовать о готовности его жертвовать на пользу науки просвещения... И в самом деле, как не удивляться ему! как не благоговеть перед ним! сколько произведений великого ума не явилось бы в свет без содействия его капитала! сколько талантов погибло бы, если б не его великодушное покровительство!.. Да! автор создает, творит в тиши кабинета; но книгопродавец... что такое автор со всеми его талантами без книгопродавца? корабль без мачты... ларчик, в котором, может быть, скрыты сокровища, но ключ от которого потерян... Кто отопрет его и покажет миру скрытые в нем сокровища? Автор творит, но не он, а книгопродавец делает известными свету его творения... Таким образом, книгопродавец – настоящий двигатель литературы, душа, желудок...

Сравнив книгопродавца с желудком литературы, Крутолобов перевел дух. Кирпичов слушал его с жадным вниманием.

– Общество, – продолжал Крутолобов, смекнувший, каким образом нужно действовать на Кирпичова, – общество понимает высокую важность такого лица в среде своей, и надо видеть всеобщее уважение, которым пользуется такой человек... Не говоря уже о том, что все литераторы считают его братом, другом, даже больше – отцом и благодетелем своим... что ему между ними и почет и первое место...

Кирпичов гордо поправил свой шарф, черный с розовыми букетами.

– ...он скоро приобретает себе друзей, – продолжал Крутолобов, старательно наблюдавший за впечатлением, которое производят его слова на Кирпичова, – друзей позначительнее литераторов. Князь, граф, генерал, каждый сановник, умеющий ценить общественные заслуги, с любовью подаст ему руку.

Здесь Кирпичов вытянул шею, выпрямился, и вся фигура его приняла величественное выражение.

– А какое наслаждение, какая честь, оказав истинную услугу литературе, удостоиться, например, публичной благодарности! вдруг печатно – да, печатно – во всех журналах и газетах на всю Русь-матушку объявят, что вот такой-то... положим, хоть... смею спросить ваше ими и отчество?

– Василий Матвеич, – подсказал Кирпичов.

– ...что вот такой-то Василий Матвеич Кирпичов, – продолжал Крутолобов, с торжественной медленностью, явственно выговаривая каждое слово, – оказал бессмертную услугу русской литературе, что он ее благодетель и двигатель, и что она должна за честь считать, что имеет такого представителя.

– Неужели так и напечатают? – спросил Кирпичов.

– Так и напечатают.

– И имя выставят? – спросил Кирпичов, никогда не издававший своего имени в печати и думавший не без сладкого сердечного трепета, что оно должно выйти удивительно красиво в печати.

– Разумеется, – отвечал Крутолобов. – Да еще не просто, а со всеми титулами; знаете, таких людей ценят, многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером... Да то ли еще? можно удостоиться даже награды: истинные ценители изящного поднесут вам, например, часы, табакерку, перстень, осыпанный брильянтами...

– Что вы говорите? – воскликнул Кирпичов. – Неужели? Вот в театре... ну, там другое дело: я сам видел, как публика поднесла драгоценный перстень... лестно, точно, очень лестно получить... да неужели можно удостоиться?

– Можно, очень можно... издайте-ка, например, общепользную, великолепную книгу.

– Издам! непременно издам! – воскликнул Кирпичов, но тотчас же спохватился и прибавил: – то есть я хотел сказать, что если б я сделался книгопродавцем, так, разумеется, издавал бы все книги большие, красивые, великолепные... по-моему, уж если издавать, так издавать... чтоб все ахнули.

– Вот люблю! – воскликнул Крутолобов с восторгом. – Люблю таких людей! Дельно, дельно смотрите на литературу и разом смекнули, в чем дело. Позвольте вас обнять!

Он обнял Кирпичова, расцеловал и просил о продолжении приятного знакомства.

Кирпичов не спал всю ночь, мечтая сделаться книгопродавцем... Пришла ему на минуту мысль, что он ничего не знает в книжном деле, что он даже и книг сроду никаких не читал, да мало их и видывал на, своем веку; но самолюбие его было не из таких, чтоб не дать потачки увлекательной, хоть и нелепой мысли. Поутру он сходил к Крутолобову с визитом. Крутолобов усадил его, потчевал превосходной сигарой, подарил ему на память первого знакомства свое сочинение: «Воспоминание об Адаме и Еве» с собственноручной надписью, – словом, приласкал и очаровал. Опасения Кирпичова окончательно разлетелись, когда Крутолобов положительно сказал и даже поклялся, поставив примером самого себя, что ученье вздор, а нужно только иметь ум, которого ему, Василию Матвеевичу, не занимать стать, и так довольно: и литературу поймешь, и отличным книгопродавцем будешь.

Кирпичов решился и скоро за умеренную цену приобрел превосходную библиотеку на нескольких языках.

Библиотека была действительно превосходная и досталась Кирпичову по счастливому случаю.

Жил в Петербурге богатый барин, проводивший дни свои в систематических усилиях разориться. Не задумываясь, он тотчас удовлетворял каждую свою прихоть, чего бы она ни стоила. Таким образом, пришла к нему, позже многих других страстей, страсть к книгам, и дубовые полки огромных шкафов, занимавших три большие комнаты, затрещали под лучшими произведениями всех европейских литератур, облеченными в роскошные переплеты. Даже русская литература не была забыта – впрочем, больше для полноты библиотеки... барин плохо знал по-русски.

Около года он аккуратно по несколько часов в день посвящал своей библиотеке. Наконец у него явилась новая страсть – страсть к лошадям, и библиотека была забыта...

По старой привычке, однако, она наполнялась аккуратно всеми новыми лучшими книгами на русском, французском, английском, немецком и других языках.

У богатого барина был камердинер, немец, человек, по-видимому, любознательный. Каждый день, уложив своего барина и уходя к себе, он уносил с собой по одному тому какого-нибудь творения... Это продолжалось; несколько лет.

Наконец, когда усилия барина увенчались успехом и дела пришли в расстройство, камердинер покинул его.

Спустя еще несколько лет барин умер, оставив по себе несметные долги, – цель, к которой он стремился всю жизнь.

Стали продавать с аукциона его имущество на удовлетворение кредиторов. Очень много рассчитывали на выручку с библиотеки, справедливо пользовавшейся славой полнейшего хранилища литературных сокровищ и редкостей. И действительно, покупателей явилось множество: каждому хотелось приобрести знаменитую библиотеку. Ждали богатой выручки.

Но велико было всеобщее удивление, когда при ближайшем осмотре библиотеки почти все лучшие и редкие творения оказались неполными: недоставало которого-нибудь тома...

Кредиторы повесили нос: покупщики разошлись с ропотом. Никто, естественно, не хотел дать за знаменитое книгохранилище ни гроша.

Тогда явился маленький человек с физиономией весьма незначительной и купил разрозненную библиотеку за бесценок.

Читатель угадал, что покупатель был прежний камердинер богатого барина.

Выждав год, он открыл книжный магазин, наполнив свое приобретение не только недостающими томами, которыми с мудрой предусмотрительностью запаса заблаговременно, но и многими новейшими сочинениями, уже преимущественно русскими. Несколько лет он тор-

говал, по-видимому, довольно счастливо; но, неизвестно по каким причинам дела его пришли в расстройство. Он прекратил торговлю, оставив большую часть своей библиотеки в залоге.

Эту-то библиотеку посоветовали приобрести Кирпичову. Дело скоро сладилось. Заплатив часть условленной суммы владельцу библиотеки, остальную и большую часть он обязался внести главному кредитору его, у которого она находилась в залоге.

Кредитор этот был Борис Антоныч Добротин.

Вот начало знакомства и связи Кирпичова с горбуном.

Получив в распоряжение свою знаменитую библиотеку, Кирпичов нанял великолепное помещение и, нимало не задумываясь, прибил на дому огромную вывеску с надписью: Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках, Кирпичова и Комп. Последнее слово было крупней всех остальных, затем, что оно стало теперь в глазах Кирпичова важнее всего необъятного количества слов, из которых была составлена знаменитая библиотека «на всех» языках.

Во все концы огромного нашего государства полетели громкие объявления о новом, великолепном светиле на горизонте нашей книжной промышленности... Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы.

День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали вприсядку и пели импровизированные куплеты в честь хозяина.

Потом подхватили Кирпичова на руки и стали качать. Чувствуя себя на верху блаженства, упоенный славой и торжеством, Кирпичов лишился возможности выражать словами свои ощущения и, подбрасываемый кверху, только с нежностью и грацией дрыгал ногами, выражая тем избыток признательности, переполнявшей его сердце.

В заключение Крутолобов, подвигнувший Кирпичова на его славное предприятие, вскочил на стол и произнес хозяину спич, который начинался так:

«Я почитаю себя счастливым, что родился в эпоху, когда на горизонте нашей книжной торговли появился почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвееч Кирпичов».

Неизвестно почему один молодой литератор, присутствовавший тут, насмешливо улыбнулся, слушая такие похвалы новому книгопродавцу.

Но и его выходка, которая, конечно, могла набросить тень неудовольствия на торжествующее лицо хозяина, если б он ее заметил, была счастливо предупреждена и даже обратилась в позор насмешнику,

– Милостивый государь! – воскликнул другой литератор, устремив на дерзкого насмешника взор, полный благородного негодования: – в ту минуту, когда воздается почесть заслуге, вы смеетесь... вы...

Но ему не дали договорить, обступив его и пожимая ему руку, в знак сочувствия к его строгому, но справедливому выговору.

Дерзкий насмешник, вероятно почувствовавший угрызения совести, с позором удалился. Остальные гости пировали до утра...

Вот таким образом Кирпичов, торговавший прежде гужами и хомутами, знакомыми ему в совершенстве, попал в книжную торговлю, в которой не понимал ничего...

Итак, Кирпичов вошел в свой великолепный магазин.

Магазин Кирпичова точно можно было бы назвать великолепным, если б местами дорогие, но безвкусные украшения не нарушали гармонии целого.

Очень большая и очень высокая комната, с большими светлыми окнами, которой стены казались сложенными из книг, местами закрытых огромными ландкартами, заменявшими в ней картины; кругом прилавки красного дерева, резко отделяющие владения самих обитателей магазина от владений публики; на окнах исполинские глобусы, в простенках небольшие диваны, обитые ярким красным бархатом; по протяжению прилавка с внешней стороны

местами тоже небольшие диванчики; а с внутренней – конторки, из-за которых виднеются головы, седые и неседые, наклоненные над толстыми счетными книгами, и руки, вооруженные перьями.

Прилавок, идущий по протяжению правой стены, далее отодвинут, чем остальные; владения публики сужены, зато расстояние между прилавком и стеною значительно обширнее, и не без особенной цели?.. Да этим прилавком, в простенке между двумя окнами, огромная конторка, уставленная разнородными чернильницами, песочницами и множеством разных письменных принадлежностей, какие только могут понадобиться и какие никогда не понадобятся деловому, много пишущему, считающему, наводящему справки, платящему и получающему человеку.

По сторонам конторки два небольшие глобуса; над ней подробная карта Российской империи; нельзя умолчать и о крючке, вбитом в стену над картой: на него нацеплено множество писем и записок всевозможных форм и почерков, со всевозможными делами и нуждами, с просьбами, предложениями услуг, с жалобами, с упреками в неисправности...

Мы не прибавляем: «и с комплиментами» (без которых, естественно, не обходилось в письмах к Кирпичову), потому что все письма, заключающие в себе похвалы хозяину и его магазину, изъявления благодарности за исправность и аккуратность и тому подобные, Кирпичов откладывал в особый портфель и потом при всяком удобном (а иногда и неудобном) случае показывал и читал гостям и избранным посетителям своим. Особенно замечательные письма такого рода он даже имел обыкновение постоянно носить с собою, с тою же целью.

По одной стороне крючка висела карта всех отходящих и приходящих ежедневно почт, а по другой – небольшая красивая рамка, в которую вкладывался, для памяти, каждый день новый листок с исчислением всего, что требовалось сделать в течение дня.

Словом, все здесь показывало присутствие руки аккуратной и деятельной, хотя при внимательнейшем рассмотрении можно было заметить, что памятный листок с исчислением того, что следовало сделать пятнадцатого числа, продолжал спокойно висеть в той же рамке до двадцать пятого, а иногда и гораздо дольше...

Наконец, на самой середине конторки торжественно возвышалась груда распечатанных конвертов всевозможных форматов, но с одной отличительной принадлежностью, не дающей ни на минуту сомневаться, почему им отведено такое почетное место.

Все конверты, числом, может быть, до трехсот, большие и малые, продолговатые и четырехугольные, надписанные нежным женским почерком и грубой рукой деревенского приказчика, были с пятью печатями...

– Вчерашняя почта! – говорил обыкновенно Кирпичов какому-нибудь важному посетителю, указывая на заманчивую груду.

Но хоть эпоха, в которую мы знакомимся с Кирпичовым, была самая блестящая для его дел, должно, однакож, признать, что груда «вчерашней почты» никогда не могла быть так велика, если б Кирпичов не прибегал к маленькой хитрости. Он обыкновенно оставлял на конторке конверты нескольких дней, даже целой недели, и выдавал их неопытным посетителям за «вчерашнюю» или «сегодняшнюю» почту, смотря по времени дня.

Нетрудно догадаться, что пространство, украшенное громадной конторкой, составляло постоянное местопребывание хозяина, когда он был в магазине.

И действительно, войдя в свой магазин и величественно кивнув головой приказчикам, которые, заложив на минуту перо за ухо, отвесили по низкому поклону своему хозяину, Кирпичов направил шаги свои прямо к конторке.

Но прежде нужно заметить, что огромной комнатой, сейчас описанной, не ограничивались владения Кирпичова.

В прилавке, идущем по протяжению левой стены, оставлен был широкий проход, прямо против стеклянной двери, которая вела в другое точно такое же отделение.

Хотя вход туда для публики был особый, а внутренним ходом сообщались с той половиной только хозяин и его приказчики, однакож над стеклянной дверью красовалась великолепная надпись: Вход в библиотеку для чтения на всех языках, Кирпичова и К®.

Ту же надпись встречали глаза на стеклах двери.

Мы забыли сказать, что главная дверь, ведущая в магазин, была также стеклянная, и что над ней красовалась та же надпись.

Но трудно упомнить все точки, на которых распорядительный хозяин умел поместить свое имя. Довольно сказать, что, подходя к дому, взбираясь по лестнице и, наконец, войдя в магазин, невозможно было найти, такую перспективу для зрения на которой глаза не встретились бы несколько раз с неизбежной надписью: Кирпичов и К®.

Кирпичов подошел к своей конторке и повелительным жестом подозвал к себе Харитона Сидорыча, который обыкновенно именовался его «Правой Рукой».

Правая Рука имел физиономию, не внушавшую особенной доверенности. Грубое, угреватое лицо с толстыми, растрескавшимися губами, которые плотно никогда не смыкались; взгляд, мрачный и мутный; волосы жесткие, как щетина, и упорно сопротивлявшиеся очевидным усилиям придать им благовидную форму; узкий лоб, огромный угреватый нос, и, наконец, костюм, совершенно соответствующий наружности: таков был Харитон Сидорыч.

Сказать правду, Кирпичов каждый раз страдал и бесился при виде своего главного приказчика, нарушавшего своей неуклюжей фигурой общую благовидность его магазина, о чем он хлопотал всего более; но Правая Рука слыл великим дельцом, и вот почему Кирпичов терпел его. Не проходило, впрочем, дня, чтоб он не бранил своего приказчика за неряшество. Но Правой Руке было легче выслушивать брань, чем расстаться с неуклюжим сюртуком, к которому он, казалось, тем нежнее привязывался, чем больше таскал его на своих плечах.

– Ну, за что он ругается? – говорил обыкновенно Правая Рука после такого увещания: – что, у него доходу, что ли, прибудет, когда я напялю новый сюртук?

И он пожимал плечами и высоко поднимал руки, растопырив мозолистые пальцы.

И теперь разговор начался выговором.

– Хоть бы вы лицо-то умыли, Харитон Сидорыч! – сказал Кирпичов, скорчив презрительную гримасу, когда Правая Рука подошел к нему: – право, на вас гадко смотреть. Такая рожа!

Кирпичов вообще не отличался деликатностью в обращении с своими приказчиками, а с Харитоном Сидорычем, сердившим его своей неблаговидностью, он обходился и еще грубее, чем с прочими.

– Это, может быть, от угрей, а лицо я с мылом мыл, – смиренно отвечал приказчик.

– От угрей! на то мыло такое есть... от угрей! Ведь вы не в табачной лавке! – с жаром возразил Кирпичов, горделиво озираясь кругом. – Здесь бываю князья и графы...

Вместо ответа Правая Рука подал ему кипу заготовленных писем и угрюмо сказал:

– Для подписания.

– Или вы, – продолжал Кирпичов, не обратив внимания на письма, – почитаете себя важной персоной, что ли? Велика персона! Вот я и не вам чета, а, небось, не выхожу к посетителям в халате? А вы? что вы такое? Ведь вы, – заключил Кирпичов, окинув своего приказчика презрительным взглядом, – вы, душенька, просто свинья!

Нужно признаться читателю, что Кирпичов иногда вставлял в речь свою, кстати и некстати, слово «душенька», – дурная привычка, укоренившаяся в нем, вероятно, еще во время торговых операций гужами и хомутами.

Правая Рука молчал и смотрел в пол, но по углам его некрасивых губ на минуту образовалось выражение сильной досады.

– Вы забудьте, – продолжал Кирпичов, – что вы сами имели свой магазин... грошовый, – прибавил он презрительно, – вы здесь не у себя в магазине. Здесь я хозяин, я! слышите ли вы? Хотите служить, так служите, как требуется...

– Я стараюсь всеми силами, – мрачно, но кротко возразил приказчик. – Неужели еще вы, Василий Матвеич, недовольны моей службой?

– Службой я вашей доволен, да рожей вашей, душенька, недоволен... Ну, посмотрите на себя: ну, на что вы похожи? Сюртук с заплатками, сидит мешком... словно вам платье не портной, а какой-нибудь гробовой мастер шьет... жилетка в табаке... бороды не бреете...

И Кирпичов начал с омерзением осматривать и повертывать своего приказчика. И потом, перескочив мысленно к самому себе, он с наслаждением поправил свою батистовую манишку, обернул кашемировый жилет ярких цветов, украшенный дорогой цепочкой с печатками, золотыми зверями и птичками, и самодовольно улыбнулся.

– Я не бог знает какие доходы получаю, – отвечал Правая Рука с принужденной кротостью.

– Что такое? – гневно закричал Кирпичов. – Уж не думаете ли вы, что я вам мало жалованья плачу?.. Да вы вспомните, в каком положении вы были, что я для вас сделал!

Лицо приказчика, всегда мрачное, стало еще мрачнее. С болезненным усилием подавил он негодование, одушевившее на минуту его уродливые черты, и тихим, почтительным голосом произнес:

– Я вами много доволен...

– Велика мне нужда, что вы довольны мной! – возразил Кирпичов с оскорбительным высокомерием. – Вот в самом деле какая честь: Харитон Сидорыч Перечумков мною доволен! У меня с вами, любезнейший, расчет короткий: не хотите служить – идите... только внесите по векселям...

Признаки подавленного бешенства исчезли с лица угрюмого приказчика: он, видимо, испугался.

– Я вам заслужу... – начал он умоляющим голосом, но Кирпичов перебил его: я

– Заслужу, заслужу! А зачем чучелой ходите! у меня магазин не вашей дрянной лавчонке чета... во всем соблюдается чистота, порядок, благоприличие. А вы просто приходящих пугаете, да и голос у вас такой, точно вас сейчас из портерной привели...

– Вы знаете, Василий Матвеич, – возразил Правая Рука с гордостью, значительно возвысив голос, – что я вот уж третий год...

– Знаю, знаю! – перебил Кирпичов. – Да уж у вас такая несчастная фигура! Иной покупатель просто испугается одного вашего вида и. – голоса, – убежит, ничего не купит да еще знакомым своим расскажет: вот, дескать, у Кирпичова приказчики пьяницы и грубияны.

Здесь Кирпичов, сам не подозревая, высказал великую истину: приказчики в его магазине действительно, отличались необычайной грубостью, подражая, впрочем, в обращении с приходящими своему хозяину, который был невыносимо груб и дерзок со всяким, на ком не замечалось явных признаков особенного достоинства,

– Вот чем вы мне платите за мои благодеяния! – заключил Кирпичов. – Про меня по вашей милости дурная слава пойдет... А еще все толкуете: рад стараться! А чего? сколько времени говорю – сюртука нового сшить не хотите! Ведь в вас, значит никакого чувства нет, никакой благодарности... ведь вы, выходит, просто подлец, душенька Харитон Сидорыч! Вспомните мое слово; не исправитесь – прогоню, а векселя подам ко взысканию... ступайте в долговое отделение. Туда и дорога!

Насмешливая улыбка пробежала по губам приказчика. С ненавистью и угрозой посмотрел он на своего неумолимого хозяина, и тотчас же лицо его опять приняло обычное выражение тупой угрюмости.

– Подпишите, Василий Матвеич! – сказал он почтительно, указав на заготовленные письма. – Не опоздать бы на почту...

– А с повестками пошли? – спросил Кирпичов.

– Пошли.

Кирпичов с глубокомыслием начал подписывать письма, написанные на великолепных бланках, где опять несколько раз повторялась его фамилия, напечатанная различными шрифтами.

– Как ни служи, ничего, кроме брани, не выслужишь, – шепнул Правая Рука соседу, воротившись к своей конторке. – Сюртук, видишь, нехорош!.. Что у него доходу, что ли, в магазине прибудет, когда я напялю новый сюртук?.. Э, хех-ех! сюртук нехорош!

Он с любовью осмотрел свой сюртук и пожал плечами.

Тишина. По раннему времени проходящих почти еще нет. Разве кучер в плисовой поддевке войдет, пронзительно прозвенев колокольчиком, переврет барское приказание, ничего не добьется и уйдет с отчаянием. И снова тишина. Только слышится скрип перьев и щелканье счетов, да из соседней небольшой комнаты (где горит в медном подсвечнике заплывшая сальная свеча, а на полу навалены в беспорядке книги, обрезки бумаги, деревянные ящики, холст и веревки, и где нестерпимо воняет дрянным сургучом) раздается стук молотка, показывающий, что артельщик тоже не дремлет, деятельно заколачивая посылки.

Изредка какой-нибудь приказчик, взгромоздясь на высокую лестницу, протянет руку за книгой, мирно покоившейся на самой верхней полке... две-три другие книги, неосторожно задетые, с громом рухнут на пол, пустив вокруг себя облако пыли... Кирпичов оглянется, прикрикнет и опять погрузится в свое занятие.

Подписывая письма, Кирпичов не столько заботился о содержании их, которого большею частью не дочитывал, сколько о красоте и витиеватости росчерка, который у него выходил удивительно эффектно.

При некоторых счетах, посылаемых вместе с письмами, оставлено было место для цен за самую вещь и за ее пересылку, которые приказчик затруднялся определить сам. Кирпичов в минуту разрешал недоумение приказчика, с помощью вдохновения: он выставлял в таких местах первую цифру, какая подверглась ему под перо.

Едва успел он подписать последнее письмо, как явился мальчик лет четырнадцати, с простодушной и привлекательной физиономией, и вручил ему «сегодняшнюю почту». Кирпичов не без довольной улыбки принял увесистый пучок конвертов с пятью печатями.

Он вооружился ножичком и стал разрезать конверты, откладывая деньги в одну сторону, письма в другую, а опорожненные конверты присоединяя к прежней гряде.

Опорожнив конверты и пересчитав деньги, Кирпичов принялся читать письма, чем, конечно, ему и следовало немедленно заняться, имея в виду нетерпение своих почтенных иногородных доверителей, которых он в каждом объявлении своем уверял в исправнейшем, аккуратнейшем и скорейшем исполнении их поручений с первой почтой.

Было что почитать! Кто просил журнала, кто жаловался, кто благодарил, кто требовал книг, кто требовал и еще разных вещей, кроме книг, начиная свое письмо так: «Посылаю двести рублей. Вина! на все вина!!!» А затем следовал список вин. Другой желал иметь коляску, гувернантку для детей, фортепьяно, охотничьи вещи и просил все доставить в целости. Третий писал: «Уведомляю вас, что в сентябре я женюсь на очень миленькой образованной девице, дочери здешнего гарнизонного полковника, которая большая охотница до литературы, – потому прошу выслать самых модных романов...» Люди солидные, дельные отличались кратким и отрывистым слогом: их тотчас можно было узнать по лаконизму письма и увесистой пачке ассигнаций, приложенной к нему. Поэты особенно не распространялись. Стихов посылалось множество. Одним стихотворением Кирпичов заинтересовался и прочел его:

Поэзия бурь

Летит по дороге четверка:

В коляске Мария сидит.
А месяц, как дынная корка,
На небе полночном висит...
Верхом – словно вихрем гонимый –
Скачу я за ней через лес
И жажду, вулканом палимый,
Поэзии бурь и чудес!
Я отдал бы всю мою славу
За горсть, за шепотку песку,
Чтоб только коляска в канаву
Свернулась теперь на скаку.
Иль если б волшебник искусный
Задумал вдруг Мери украсть; –
Иль вор, беспощадный и гнусный,
Рискнул на коляску напасть...
Иль пусть кровожадные звери
Коляску обступят теперь...
На помощь возлюбленной Мери
Я сам бы явился, как зверь.
Умчал бы ее я далеко –
За триста земель и морей...
И там бы глубоко, глубоко
Блаженствовал с Мери моей.
Но нет ни зверей, ни злодеев,
Дорога бесстыдно гладка,
Прошли времена чародеев...
О, жизнь, как ты стала гадка!
Везде безотрадная проза,
Заставы, деревни, шоссе...
И спит моя майская роза,
Раскинувшись в пышной красе, –
Меж тем как, окутан туманом,
Летит ее рыцарь за ней
И жаждет борьбы с великаном
В порыве безумных страстей...
О, чем же купить твою ласку
В холодный и жалкий наш век,
Когда променял на коляску
Поэзию бурь человек?..

«Недурно! надо показать Владимиру Александровичу!» – подумал Кирпичов и протянул руку к другому письму; но тут явился Алексей Иваныч...

Алексей Иваныч был единственным наследником своего отца, семидесятилетнего старика, с тремя миллионами, уже не имевшего сил подняться с места; а для таких людей у Кирпичова не было ничего заветного и невозможного. Он был всегда и во всякое время к их услугам – каким угодно, – унижаясь перед ними столько же, сколько ломался перед людьми беднее его.

Алексей Иваныч, человек лет сорока пяти, с бородкой, острижен в кружок и одет покупчески: в суконный сюртук, широкий и длинный, и в плисовые панталоны, заправленные

в сапоги; в его словах и во всей его фигуре заметна бесцветность, как будто он ещё не успел определиться.

Обменявшись с гостем несколькими словами, Кирпичов поднял конторку и положил туда вновь полученные ассигнации... Человек, менее привычный к деньгам, мог ахнуть самым добросовестным образом при виде огромного количества бумажных, золотых и серебряных денег, покрывавших обширное дно конторки и представлявших в своем беспорядочном смещении зрелище необыкновенно привлекательное.

То была весна: время еще довольно сильного расхода на книги и всякие товары, время, когда многие, надумавшись, подписываются еще на журналы; в конторе Кирпичова собралось в тот день чужих и своих денег до ста тысяч.

Но Алексей Иваныч, бывший главным приказчиком своего отца и видевший в своих руках миллионы, только заметил с добродушно-лукавой улыбкой:

– Конторочку-то скоро надо будет заказывать попроторнее!

– Все благодетели иногородные! – отвечал Кирпичов, любуясь своими сокровищами и медленно захлопывая конторку.

К чести благодарного сердца Кирпичова и к несомненному удовольствию господ иногородних должно заметить, что Кирпичов обыкновенно называл их не иначе, как «благодетелями».

Кирпичов запер конторку и положил ключ в карман. Потом он выдвинул нижний ящик конторки и свалил туда письма, которых, по-видимому, уже не располагал читать.

Затем он положил руку на плечо Алексея Иваныча и повел его вон из магазина. Из комнаты, где производилась упаковка посылов, они поднялись в третий этаж, и Кирпичов, проходя с гостем через комнату жены своей, сказал ей:

– Велите-ка, матушка Надежда Сергеевна, подать нам бутылочку шампанского да закусь.

И он увел гостя в свой кабинет, где, впрочем, чаще предавался разгулу с своими друзьями, чем занятиям, соответствующим названию комнаты.

Глава V

Как кутит Кирпичов

Кирпичов допивал с своим гостем уже вторую бутылку шампанского, – которое он обыкновенно начинал пить с одиннадцати часов утра, когда явился общий знакомый их Трофим Бешенцов – человек лет сорока, тучный и краснолицый. Подобно Правой Руке, он считал непростительной роскошью чисто одеваться: по его сюртуку опытный пятновыводчик всегда мог определить, какого вина он вчера убавил. Перчатки он презирал, толстую шею свою стягивал волосяным галстуком с огромной стальной пряжкой; бороду брил редко.

По званию он был актер, но при театре, по причине положительной бездарности, делать ему было нечего, и он проводил время с купцами, которые вообще охотно дружатся с актерами. Купцы любили его за веселый нрав, за остроумие и за то еще, что он по первому требованию друзей рад хоть вприсядку среди улицы – качество, которое называли в нем добротой сердца. И притом не обидчив.

Впрочем, Бешенцов имел свое самолюбие; *но что же такое артист без самолюбия?* как сам он иногда говаривал.

Трезвый он был тише воды, ниже травы, а напьется – кричит: «Велик Бешенцов! велик!..» И убеждение в своем величии тогда достигает в нем такой высокой степени добродушного комизма, что умей он хоть половину его проявить на сцене, он был бы точно велик.

Кирпичов познакомился с ним у одного купца, вскоре по приезде в Петербург. Они напились и в тот же вечер подружились. В бумагах покойного Назарова Кирпичов нашел письма его брата и по ним доискался местопребывания наследницы, но решительно не знал, как приступить к делу. Он открылся своему новому другу, как безумно влюблен, и Бешенцов помог ему советом и стихами. Купеческие сынки и молодые приказчики часто прибегают в любовных объяснениях к стихам – и не ошибаются: ничто так не льстит самолюбие молоденькой швеи, едва знающей грамоту, ничто так не очарует и не убедит ее, как высокопарная фраза, громкие стихи. И чем меньше она поймет, тем сильнее впечатление, тем вернее успех. Расчет удался, и талант Бешенцова торжествовал, доставив ему дружбу богатого книгопродавца.

– А я совсем нечаянно! – сказал Бешенцов раскланиваясь.

И хозяин и гость ответили ему хохотом.

С некоторого времени вечно праздный Бешенцов ежедневно прохаживался по утрам мимо «Книжного магазина и библиотеки для чтения на всех языках» и, заметив, что к Кирпичову вошел какой-нибудь почетный гость, отправлялся и сам туда, уверенный, что теперь уже не будет лишним, и всегда извещал, что «совсем нечаянно». Хитрость, наконец, заметили.

Да и сам он уж давно смекнул, что ею никого не проведешь, но был непрочь, заметив, что какая-нибудь простодушная его выходка смешит слушателей, и повторить ее с умыслом, – к чему, впрочем, приходят почти все люди, имеющие в характере своем оригинальную черту, возбуждающую внимание, даже и те, которые не нуждаются в даровом угощении.

Хозяин и гости, попивая шампанское, дружно беседовали. Вдруг Чепраков взглянул на часы и значительно сказал:

– А! Пора!..

– Неужели уж час? – спросил Кирпичов.

– Без пяти минут, – отвечал купец и взял шляпу.

Ни гость, ни сам хозяин не думали удерживать его;

Кирпичов только крикнул вслед ему:

– Если ужо, Алексей Иваныч, не найдете нас дома, так приезжайте «туда»!

– Хорошо! – отвечал Чепраков и ушел.

У людей, которые часто сходятся, всегда есть слова, которым придан особенный, условный смысл, непонятный постороннему. Таким образом, в компании Кирпичова «туда» имело разные значения, смотря по времени дня. Сказанное до обеда, оно значило в трактир.

Кирпичов пространно повествовал Бешенцову, как отлично идут его дела, какие получает он доходы и награды, как ласкают его князья, графы и другие именитые люди, вдруг на пороге показалась чрезвычайно длинная, сухощавая фигура, в синих штанах с серебряными лампасами, в коричневом персидском казакине с нашивками на груди; кинжал у пояса, остроконечная баранья шапка на голове довершали наряд нового гостя.

То был персиянин Хаджи-Кахар-Фахрудин. Ему было уже за шестьдесят лет; но лицо его постоянно каждый месяц менялось: то он молодец, то дряхлел, – по той причине, что раз в месяц красил себе волосы, брови, ресницы, даже подкрашивал руки, обросшие волосами. Но следы морщин слишком резко обозначали его лета, глаза его тоже выпцвели и были невероятно тупы; вообще трудно было определить степень его ума: он вечно молчал и внимательно слушал, особенно когда говорил Кирпичов, которому вверил он свой маленький капитал. Ежедневно с той поры приходил он ровно в час в магазин и торчал, как статуя, постоянно на одном месте, иногда поднимал с полу какую-нибудь соринку, сдувал пыль с книги и снова садился. При всяком движении в магазине – отпускают ли товар, привезут ли новое издание, переставляют ли шкафы – он был непременным молчаливым членом: широко раскроет свои тупые глаза и смотрит и прислушивается, медленно кивая головой, словно бьет такт. Вообще он смотрел на магазин Кирпичова и на все, что в нем делалось, такими глазами, как будто все тут принадлежало ему и происходит по его приказанию. Ему выходило большое наследство, и он обещал пуститься с Кирпичовым в обороты и даже намекал, что откажет ему свои деньги в вечное владение. И Кирпичов ласкал его и часто, указывая гостям своим на молчаливого персиянина, шептал: «Дурак ужаснейший! и никого родных нет... Вот посмотрите, если не сделает меня своим наследником!»

– Ну, Кахар! отдашь мне свои деньги? – спросил Кирпичов, ударив вошедшего персиянина по плечу.

– Все отдаст! – отвечал персиянин, улыбнулся и кивнул головой.

Кирпичов предложил ему закусить. Персиянин резал сыр такими кусками, как режут хлеб, откусывал разом по четверти фунта и вообще ел ипил ужасно. Насытившись, он уселся в мягкое кресло и закрыл глаза. Кирпичов занялся чтением Бешенцову писем, в которых господа иногородние благодарили и хвалили его. Бешенцов слушал и поддакивал. На десятом письме чтение было прервано возвращением Чепракова.

– Отделались, Алексей Иваныч? – таинственно спросил его Кирпичов.

– Отделался! – отвечал он, махнув рукой.

– Не отправиться ли «туда»?

– А пожалуй.

Персиянин вскочил... куда сон девался!.. и схватил баранью шапку.

Скоро они прибыли в трактир и заказали обед, а покуда отправились в бильярдную. Здесь они встретили господина с открытым и благородным лицом, который обыгрывал бледного и вялого купчика, приговаривая за каждым ударом: «Шарики-сударики! по сукну катитесь, в борты стучитесь, в лузу валитесь!..», и после каждой партии громогласно требовал то чашку шоколаду, то рюмку водки, то порцию мороженого.

– А, Урываев! – радостно сказал Кирпичов.

И товарищи его обрадовались тоже Урываеву. Только персиянин не обрадовался: небольшой переезд утомил его, и он уже спал под шум бильярдных шаров.

Урываев был бильярдный герой. Бильярдные герои, то есть люди, постигшие в совершенстве великую тайну клапстосов, дублетов, триблетов, карамблей и разных бильярдных тонко-

стей, бывают двух родов: одни начинают поприще свое снизу и постепенно идут вверх, другие начинают сверху и постепенно съезжают вниз.

Первые люди – люди бедные и темные, начав с дрянного трактира и ничтожного куша, оканчивают великолепной ресторацией и значительными кушами. Вторые – наоборот. Прокутив и проиграв состояние в великолепных ресторациях, они, постепенно понижаясь, нисходят в грязные харчевни, откуда помогли выбраться первым. И здесь только приходит им мысль применить свое искусство, так дорого купленное, к делу.

Урываев принадлежал к героям второго разряда. Он имел порядочное состояние, которое прокутил в два года, но не унывал; по характеру он был счастливейший человек в мире. Впрочем, его незачем описывать. Не только в Петербурге, но даже в самом маленьком городке есть непременно хоть одно такое лицо. Человек, который вечно хохочет, острит, выигрывает, хладнокровно делает подчас вещи, поднимающие волосы на голове, навязывается на знакомство, ссорится, мирится, беспрестанно впутывается в истории, из которых выходит не всегда с честью, но всегда веселый и довольный: таков Урываев. Appetit у него невероятный; выпить он может сколько угодно, и нет такого роскошного пира, с которого бы он ушел, оставив хоть каплю вина. После шампанского он пил водку, потом пиво, потом ром, потом опять шампанское, – словом, он глотал рюмку за рюмкой, не разбирая, с чем она... И ему все сходило с рук. Всегда здоров и свеж, он полнел с каждым годом; фигуру он имел очень благовидную: щеки полные и круглые, густые бакенбарды и белые зубы; но опытному глазу тотчас делалось ясно, что по лицу его не проходило ни одно, человеческое ощущение, но много прошло пощечин. Несмотря на постоянное пребывание в столице, он ходил всегда в фуражке, руки держал в карманах, в левом ухе носил золотую серьгу...

Такой человек присоединился к компании Кирпичова. С Кирпичовым он познакомился в трактире, порядочно обыграв его для первого знакомства. Кирпичов любил его за удалый характер и неистощимую веселость...

Кирпичов пригласил его обедать. Разбудили персиянина и отправились в особую комнату.

Обед прошел чрезвычайно весело. Бешенцов занимал компанию остроумными рассказами, а Урываев, к общему удовольствию, бил тарелки себе об голову с удивительным искусством: тарелка, чокнувшись с головой, издавала глухой звук, и с одного разу на ней оставалась довольно заметная трещина. Персиянин ел за троих, а потом спал.

В исходе шестого часа купец Чепраков, посмотрев на часы, с озабоченным видом сказал: «А пора!» и поспешно исчез...

– Отделайтесь, пожалуйста, поскорей! – крикнули ему в один голос товарищи.

Когда он воротился, компания отправилась в театр. Урываев взял себе коляску.

В театре в тот вечер с особенным эффектом прошла историческая драма «Боярская шапка», переделанная на русские нравы с испанского. Но Кирпичов и К® не досмотрели ее. Первый оставил театр купец Чепраков. Посмотрев на часы в исходе десятого, он воскликнул испуганным голосом: «Вот тебе и раз! чуть не опоздал!» и быстро исчез.

– Приходите, Алексей Иваныч, *туда!* – закричал вслед ему Кирпичов.

«Туда» значило теперь в танцкласс. Соскучась в театре, приятели вышли в половине третьего действия и сели в свои экипажи. Накрапывал дождь.

Они долго ехали по Фонтанке и, наконец, оставив за собой несколько мостов, повернули влево и въехали в узкий и бесконечно длинный переулок, огражденный с одной стороны темным забором; огромные старые березы и липы шумом наклонялись над ним и бросали гигантские тени на высокую сплошную стену, возвышавшуюся по другой стороне переулка. Стена была гладка и черна; только в самом верху ее виднелось окно, и свет, выходявший из него, местами оставлял на неосвещенных предметах и черных тенях ясные точки и полосы.

Взяв билеты, они вошли в залу и остановились у двери против самого оркестра, помещенного за перегородкою на небольшом возвышении во всю длину комнаты. Несмотря на то, что зала была довольно велика, в ней уже некуда было бросить яблоко. Пар тридцать неистово выплясывали; танцующих окружали плотною массою любопытные, напивавшие, с опасностью жизни, все сильней и сильней. И правду сказать, оттоптаннные мозоли, взъерошенные затылки и вихры, даже неприятное превращение длинного носа в курносый – вознаграждались самым великолепным, разнообразным зрелищем. Не проходило минуты, которая не ознаменовалась бы событием, достойным внимания. То первая танцорка бала – стройная, перетянутая в рюмочку модистка, с распустившимися локонами и плутовским взглядом, – выступает вперед, перегнувшись на сторону и слегка приподняв платье; ее встречают непрерывным громом рукоплесканий, восторженными криками, а между тем готовится новая потеха. Откуда ни возьмись, навстречу ей гордо вылетает сухощавый француз, у которого, как известно постоянным посетителям бала, в запасе всегда какая-нибудь необыкновенная штука. Француз запускает руки за жилет, закидывает назад кудрявую, распомаженную свою голову и делает вид, как бы привинчивает себе ноги, вынимая их поочередно из кармана. Крики «браво, бра-виссимо, браво!» заглушают в ту минуту звуки оркестра. Раскланявшись на все стороны, он начинает новый фокус. То появление неуклюжего провинциала, пустившегося, из подражания француз, выделывать па своими жирными ногами и шлепнувшегося от неудачного скачка посреди залы, возбуждает всеобщее внимание; то снова вся пестрая толпа танцующих, как бы разом, вместе с ударом в турецкий барабан, соединившись в одну длинную плетеницу, летит, повергая все и всех, пока не затихнет утомленный оркестр. Шум, давка, крики, хохот, хорошенькие глазки, усы, плечи, прически, цветы, коки, завитки – все тогда рассыпается и наполняет остальные комнаты вплоть до самого буфета, где уже не одна пробка успела брякнуть по носу Софокла, Сократа и Эврипида, довольно удачно изображенных на потолке.

Тут, за небольшими столиками, уставленными тарелками и бокалами, уже давно пируют те, которые предпочитают легким танцам положительные котлеты и бифштексы.

Кирпичов с компанией принадлежали к последним и потому не замедлили воспользоваться, антрактом между танцами, чтоб пробраться в буфет. Вскоре присоединился к ним и купец Чепраков.

– Ну, теперь отделался на всю ночь, – сказал он Бешенцову с необыкновенной веселостью, как школьник, получивший, наконец, свободу. – Эй, малый! две бутылки шампанского! надо догнать товарищей.

Бешенцов помог ему.

Пора объяснить причину таинственных отлучек купца Чепракова. Несмотря на почтенные лета, он решительно не имел своей воли и даже в сущности не назывался еще купцом, а только купеческим сыном. Родитель его, семидесятилетний старик, не любил давать потачки детям. «Ты что! молокосос! – говорил он ему: – твое дело слушаться старших... вот только уйди со двора без моего спросу!.. Я тебя, мальчишку, так...» И сын не смел явно ослушаться. Но старик, разбитый параличом, бесчувственно сидел в креслах, приходя в память только к обеду, чаю и ужину, и «молодой» Чепраков принял за правило являться домой в такие часы с строжайшей точностью, а остальное время предпочитал проводить с Кирпичовым и не жаловался на свою участь: у него еще жив был дедушка, который обходился с его отцом почти так же.

Урываев производил в танцклассе эффект. Там он был вполне в своей сфере и распоряжался как дома. Он раскланивался и заговаривал решительно со всеми, говорил всем ты и рас-точал поцелуи направо и налево, – внезапно упал на колени перед красавицей, поразившей его, и громко изъяснялся ей в любви. В промежутках танцев останавливался посреди залы распорядительницу бала, женщину лет шестидесяти, с воинственным видом и с непостижимым упоением покрывал поцелуями ее старые, черные, сморщенные руки. Довольно нецеремонно

толкал каждого встречного и громко острил насчет тех, кто не имел счастья ему понравиться. Вступавших за свою честь, как говорится, обрывал, если приходилось по силам, а иным и уступал впрочем, с достоинством. Вообще он не был ни слишком храбр, ни слишком самолюбив и хорошо сознавал свои, как говорил, недостатки.

Потолкавшись еще в буфете и подкрепив себя несколькими стаканами хересу, Урываев вдруг исчез. Кирпичов долго искал его, но потом, пробравшись в залу, где уже снова начались танцы, взглянул на оркестр и расхохотался. Засучив рукава, Урываев деятельно помогал музыкантам, постукивая ножом в тарелку. Впрочем, вмешательство его не портило музыки по той причине, что трудно было ее чем-нибудь испортить.

Бешенцов между тем значительно расходился. Протискавшись в танцевальную залу, он подходил почти к каждому, поднимал кверху толстые свои руки и произносил громовым своим голосом: «Велик Бешенцов! велик Бешенцов!»

Разумеется, такого лица не могли не заметить, и вскоре огромная толпа окружила актера, осыпая его насмешливыми вопросами и возгласами.

– Как вы хорошо вчера играли! – насмешливо крикнул ему один молодой человек.

– Что и говорить, душа моя, божественно! – добродушно отвечал актер, ноги которого начинали уже описывать неопределенные круги.

Но танцы и многолюдство не слишком привлекали наших приятелей. Скоро они перебрались в особую комнату, примыкавшую к половине хозяйки. Явился ужин. Приятели дружно уселись вокруг стола, ярко освещенного и уставленного, бутылками.

Бешенцов мешал есть персиянину, обращаясь к нему с мрачными рассуждениями о своем величии.

– Велик Бешенцов, велик! – кричал он, повертывая персиянина. – Нет, ты ложку брось да скажи, так ли я говорю?

Персиянин кивал головой с таким видом, как будто хотел выклевать трагику глаза своим крючковатым носом.

– Нет, ты поклянись! слышишь ли? поклянись!

И жадный персиянин клялся, лишь бы поскорей возвратиться к вкусному винегрету, который он уписывал ложкой.

Вдруг послышались за стеной звуки фортепьяно и женский голос, напевавший русскую песню. Чепраков и Кирпичов, страстные любители русских песен, опрометью бросились к двери и прильнули к замочной скважине; но звуки плохо доходили до их жадного слуха.

– Можно отдать, так сказать, полжизни, – воскликнул Кирпичов, – чтоб послушать поближе такого голоса!

Чепраков был того же мнения.

Несмотря на позднюю пору, по ходатайству Урываева, желание их исполнилось. Дверь растворилась, и хозяйка представила восторженных слушателей своей племяннице, сидевшей за фортепьяно, и трем ее приятельницам. Племянница, девица лет тридцати с лишком, не отличалась ни красотой, ни хорошим голосом; но Кирпичов и Чепраков решительно растаяли: сердца их давно алкали эстетической пищи, и только хор московских цыган мог теперь полнее удовлетворить их жажду.

Упрашивая певицу спеть то одну, то другую русскую песню, они осыпали ее похвалами и громко рукоплескали ей. Наконец, в порыве восторга, Чепраков тихонько положил на фортепьяно пятьдесят рублей. Кирпичов последовал его примеру, но положил не пятьдесят рублей, а сто. Тогда Чепраков положил двести; внимательно окинув глазами его пачку, Кирпичов положил триста.

Певица, казалось, ничего не замечала. Закатив глаза под лоб, страшно стуча пальцами по клавишам, она восторженно пела «Черную шаль», и вдохновение ее с каждой минутой возрастало.

В полчаса очарованные слушатели наклали ей на фортепьяно порядочную сумму.

Наконец бумажник Чепракова истощился, и он с прискорбием прекратил приношения. Тогда только прекратил их и Кирпичов, который, в порыве благородной щедрости, находившей на него в разгульные минуты, никак не мог допустить, чтобы кто-нибудь дал больше его слуге в трактире, музыкантам, певице, цыганам, фокуснику, кому ни придется. Раз в ресторацию, где сидел Кирпичов один-одинехонек в ожидании приятелей, вошел неизвестный, окинул комнату презрительным взглядом и самым надменным тоном потребовал «бутылку шампанского и два бокала». Кирпичов тотчас же решился оборвать его и крикнул тому же слуге: «*Две бутылки шампанского и один бокал!*»

Таково было его самолюбие.

Пока Кирпичов и Чепраков слушали и награждали певицу, остальные продолжали пить в первой комнате. – И когда книгопродавец, наконец, воротился туда, сердце его возрадовалось: стол был загроможден бутылками. Но, не без гордости пересчитав их он вдруг схватился за карман и озабоченным голосом спросил Чепракова:

– Деньги есть?

– Ни копейки! – с гордостью отвечал купец Чепраков.

– И у меня тоже немного: не хватит на расплату. А где Урываев?.. да что! у него нечего и спрашивать. Делать нечего: погодите, я сейчас съезжу.

И, покачиваясь, он вышел на двор. Ночь была темна и пасмурна; мелкий дождь обратился в ливень. Кирпичов сел в свою коляску и велел кучеру ехать домой.

Дорога укачала его так, что голова начала кружиться. Приехав, он прямо отправился в свой магазин. Глубокая тишина царствовала в знаменитом книгохранилище. Освещенные с улицы красноватым блеском, окна с неспущенными гардинами отражались на потолке неподвижными светлыми треугольниками, повторявшимися на стенах и паркетном полу, и в то же время дрожащие огоньки каретных фонарей бегали по стенам и потолку, будто догоняя друг друга... Нетвердые шаги хозяина глухо звучали в пустой и обширной комнате; две-три здоровые крысы шмыгнули между его ногами, потревоженные, сверх своего ожидания, в такую пору, когда сокровища человеческого ума по давней привилегии поступают в их исключительное владение... Кирпичов подошел к своей конторке, и замок с пружиной громко и резко шелкнул, повинувшись руке, вооруженной ключом. Звук его долго не умолкал. Чувствуя смертельное кружение головы, Кирпичов поднял крышку и, захватив ощупью полную горсть ассигнаций, положил их в задний, карман своего сюртука. Повторив еще несколько раз то же и туго набив оба кармана, он запер конторку и тем же нетвердым шагом пошел вон из магазина.

– Ну что, привезли денег? – спросил купец Чепраков, когда книгопродавец вошел в комнату.

– Вот! – отвечал Кирпичов и, погрузив руки в карманы, с торжеством показал две пригоршни ассигнаций.

Глаза невольно заблистали у зрителей. Ассигнации были все крупные; между ними попадались и целые пачки, связанные, вероятно, по тысяче.

Все начали увиваться около Кирпичова. Певица сделалась к нему благосклоннее. Ее приятельницы также улыбались ему с особенной любезностью.

Явилось вино, и пир начался снова.

Глава VI

Правая рука

В шесть часов утра, Харитон Сидорыч проснулся и разбудил прочих приказчиков. Толстая и красная кухарка принесла огромный самовар и корзинку с хлебом. Напившись чаю, каждый занялся своим делом. Правая Рука, в халате, перед которым сюртук его мог показаться образцом чистоты и изящества, с растрепанной головой и неумытым лицом, сел к своему столу и погрузился в работу. Поминутно брал он то одну, то другую толстую книгу, прикидывал что-то на счетах и записывал цифры на особый листок. Не успел он кончить своего дела, которое, по-видимому, сильно интересовало его, как послышались за спиной его громкие шаги. Он оглянулся и быстро вскочил: перед ним стоял Кирпичов, возвращавшийся по черной лестнице с ночных походов. Лицо его было измято и бледно, глаза тусклы, узел шарфа торчал на боку, а концы его болтались сверх сюртука; только две дырочки, уцелевшие на шарфе, свидетельствовали о брильянтовой булавке, которой Правая Рука не замечал на своем хозяине.

– А, душенька, вы уж за работой! – начал Кирпичов, дружелюбно подавая руку своему приказчику. – Ну, доброе дело! А мы вот немножко покутили... не все работать... надо же и покутить... Не правда ли, душенька?

И он ласково положил руку на плечо своему приказчику.

– Правда, – угрюмо отвечал приказчик.

– Полноте, Харитон Сидорыч, сердиться! полно, душенька! – воскликнул Кирпичов, который в нетрезвые минуты делался добр и чувствителен с своими подчиненными, позволял себе многое высказать и вообще обнаруживал человеческие стороны характера, спавшие в нем остальное время. – Ведь я тебя люблю, ужасно люблю... я вот все только и думаю, как устроить дела твои... Уж будь уверен... уж, пожалуйста, не беспокойся: векселей не подам ко взысканию... и зачем подавать? ты заслужишь... И из-под следствия выпутаю... Я ведь понимаю, Харитон Сидорыч, что вы мне верный слуга... я ведь не бесчувственная скотина какая... проси что угодно: все сделаю для тебя... да я так тебя люблю, что готов душу свою положить за тебя, душенька... я жалованья вам прибавлю, Харитон Сидорыч, ей-богу, прибавлю... тысячу рублей... да я тебя в долю приму, душенька, десятый процент дам... разрази меня гром... Ну, поцелуй меня!

И Кирпичов поцеловал толстые, неумытые губы своего приказчика.

– Ну, за что ты сердишься? Ну, скажи: ну, неужели еще недоволен ты мной?

– Я вами много доволен, – отвечал приказчик, по-видимому тронутый, – только...

– Ну, что только? чего еще не достает тебе?... ну, говори.

– Только вот все насчет платья попрекаете, – отвечал приказчик, потупив глаза.

– Нельзя, душенька, нехорошо: перед публикой стыдно... да что платье? вздор! Я тебе отличное платье сделаю на свой счет... сегодня же позову портного: мерку велю снять... так вот и разговора у нас про платье больше не будет.

– Много благодарен, Василий Матвейч, – сказал приказчик. – А вот я заготовил вам выписочку: сегодня в банк платить.

– Как сегодня? уж будто сегодня, душенька?

– Сегодня, Василий Матвейч.

– Ну, что ж? сегодня, так сегодня и заплатим.

– Да и по трем вексям: Грачищеву двадцать семь тысяч, Стригонову и Куницыну срок подходит.

– Что вы, душенька, белены объелись? – возразил Кирпичов. – Ведь у Грачищева брали на восемь месяцев.

– Точно на восемь; только ведь уж они прошли... Вот извольте сами смотреть.

И приказчик сыскал в толстой книге нужную страницу; но Кирпичов, не посмотрев, возразил:

– Верю, верю, душенька! прошли, так прошли! мудреного нет – забыл! Денег у меня довольно... в банк хватит, и Грачишеву... только деньги, понимаете, Харитон Сидорыч, не все мои... надо на днях сделать расчет с Владимиром Александрычем... да еще надо задатку дать князю Хвощовскому.

– Какому Хвощовскому? за что?

– Новое издание предпринимаю, – самодовольно отвечал Кирпичов. – Полное собрание сочинений князя Хвощовского, в шести томах, с картинами и чертежами.

– Охота вам, Василий Матвеич, пускаться опять в издания, – с неудовольствием заметил приказчик. – Право, что в них проку? только деньгам перевод! Еще иное дело издавать книги полезные, а то вечно кучу денег потратите на печать, на бумагу, на переплет, на объявления, а потом гляди да сохни: гниет издание в кладовой. По правде сказать, не умеете вы выбирать, Василий Матвеич. Вот Окатов издал «Средство вырощать черные усы и густые черные брови»... оно, конечно, вздор, и купивший ее не только не вырастит черных усов, так и рыжие потеряет, а посмотрите, как книга идет! Всякий думает: верно, вздор, однакож попробую! черных усов всякому хочется! А вот опять книга, тоже о волосах: «Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости». Шутка! кому помолодеть не хочется?... вот она и идет. А видели книгу: «Нет более паралича»? А «Лечение всех болезней физических и нравственных портером и модерою»? третье издание печатается!.. А «Тайна быть здоровым, – богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу»? Небось сочинитель не умрет теперь с голоду, издатель тоже жаловаться не будет... Тут, я вам скажу, Василий Матвеич, дело основано на знании природы человеческой; а ваша аллегория, смею сказать, просто вздор; с аллегорией пойдешь по миру.

– А что скажут журналы, когда я такие книги издавать стану? – заметил Кирпичов, зевая. – Помилуйте, душенька!

– Журналы! да вам не с журналами, а с деньгами жить! Верьте вы мне, Василий Матвеич, – продолжал с жаром Правая Рука, обрадованный благоприятной минутой высказать хозяину свой взгляд на дело: – с журнальной похвалы сыт не будешь, только суетную гордость свою удовлетворишь... а тут капитал – дело нешуточное! Ну, вот наиздавали вы теперь философических и аллегорических книг. Сочинения толстейшие: в ином тома четыре... сочинители все важные, а что толку? валяются экземпляры в кладовой.

– Да, правда, – заметил задумчиво Кирпичов, – книги их точно скверно идут; как напечатал – сваливай в кладовую, а ключ хоть в Неву кидай: не понадобится. Ни одно издание даже не окупилось. Я уж сам, признаться, думал: отчего? люди прекраснейшие и уж в летах, пожилы на свете, могли набраться ума, а иные так даже известностью пользуются; поди, как лет тридцать назад сочинения их шли! такие люди, что, кажется, и постыдятся вздор написать, – не то, что мальчишка какой, который с голоду пишет в шестом этаже... У них и кабинеты отличные; как войдешь, тотчас почувствуешь, что ученый и умный человек живет: библиотека огромная, стол письменный весь завален бумагами, этажерки, кушетки, кресла, ландкарты на стенах, конторки; на лице такие соображения; заговорит – точно книга: садись и записывай. А издания нейдут! просто и ума не приложу отчего!

– Я думаю, – отвечал глубокомысленно главный приказчик после долгого молчания, – я думаю, от того, что они слишком серьезно и аллегорически сочиняют... Люди важные, с достатком, они, натурально, не станут справляться, что происходит даже и между дворянами, не только у купцов и разночинцев, которые любят почитать, – а что придет в голову, то и пишут. Вот и выходит аллегория; а какой прок в аллегории? Уж помяните вы мои слова, Василий Матвеич: не доведут вас до добра издания философические и аллегорические... Я думаю, так они даже и не литература, а просто пустословие! Умный человек не понесет аллегории, а ино-

городный и плюнуть на нее не захочет. Ему давай, житейского, практического!.. Вот, помните, летом приходил к вам какой-то сочинитель, кажется Лачугин... да, точно, Лачугин! Вот вы его прогнали, а Окатов за три золотых купил у него роман да теперь уж третье издание печатает.

– Знаю, знаю, душенька! о нем теперь везде говорят... Да ведь он сам виноват. Приходит бледный, мизерный такой, жметя, запинаясь, точно сейчас уличили его, что он платок из кармана украл... «Где вы служите?» – спрашиваю я. – Нигде, – говорит. «Какой ваш чин?» – «Никакого», – говорит. «Что же, у вас родители богатые люди?» – Нет, – говорит, – бедные. «А какого звания?» – Мой отец, – говорит, – мещанин... – Ну, каков литератор? прилично ли мне издавать мещанские сочинения?... «Подите, – говорю, – на то есть Щукин двор: там у вас купят, а я не могу...» – Какая же причина, – говорит, – вашего отказа?... – Я рассмеялся. «Ну, какая причина? ты, любезнейший, посмотри на себя, – говорю, – так и увидишь, какая причина... Мне, – говорю, – благородные люди приносят свои сочинения, да и у тех, душенька, беру не у всякого...» Вот он и ушел да с тех пор и не бывал... а-а-а... Уж не понимаю, почему ему посчастливилось! – заключил, зевая, Кирпичов, по мнению которого, чтоб сочинение было хорошо, автору его следовало иметь крупный чин. – Прощайте, душенька; спать хочется... а-а-а...

– Как же, Василий Матвейч, с векселями? Ведь хуже будет, как сроки пропустим.

– Ну, ужо подумаю... А всего лучше... знаете ли что?... съездите к Борису Антонычу... попросите тысяч двадцать пять до зимы да и вексель велите заготовить... я уже подпишу... он не откажет... а-а-а!

Кирпичов ушел спать.

В десять часов Правая Рука постучался в ворота знакомого уже читателю дома на Выборгской стороне, в глухой улице. Рыжий мальчишка беспрепятственно пустил его в калитку и тотчас исчез, предоставив ему полную свободу.

Бойко миновав две первые комнаты и достигнув дверей третьей, Правая Рука осторожно постучался.

Работая в своей комнате, башмачник услышал стук разбитого стекла над своим окном. Как сумасшедший, кинулся он к Полинке, но дверь была заперта. Думая, что Полинки нет дома, он сбежал в кухню взять ключ у хозяйки, но ее там не было. Башмачник опять отправился наверх, опять дернул за скобку – и, к удивлению его, дверь отворилась! Он вошел в комнату – и окаменел от ужаса: Полинка, бледная, с окровавленной рукой, стояла у разбитого окна; горбун в волнении ходил по комнате. С минуту башмачник дико озирался кругом, и вдруг страшная догадка осветила его ум; подняв сжатые кулаки, он бросился к горбуну. Горбун окинул его презрительным взглядом и молча вышел. Хозяйка поджидала в сенях.

– Зачем ты заперла дверь? – яростно крикнул ей горбун.

– Вот тебе на! – с ужасом возразила девица Кривоногова отступая. – Не сами ли наказали! Он впал в задумчивость и молчал. Хозяйка начала охать.

– Вот наделали дела! как бы чего не вышло!

Он быстро поднял голову и погрозил ей палкой.

– Смотри! ни одного слова.

– Господи ты боже мой! да разве я дура?

Горбун вышел. Вечер был холоден; немногие звезды, одиноко горевшие в разных концах темного неба, скупо освещали его; ветер, дувший весь день, наконец унялся. В переулке царствовала такая тишина, что слышался непрерывный глухой гул, доносившийся с другого, оживленного конца города.

Тишина и холод не успокоили горбуна. Он дышал тяжело. Походка его была неровная и сердитая. На углу одной улицы обступили его извозчики и, похлопывая рукавицами, предлагали свои услуги.

– Пошли прочь! – крикнул он таким бешеным, шипящим голосом, что извозчики попятнулись и примолкли, но тотчас опомнились и продолжали уже с намерением приставать к нему.

Он остановился и стал осыпать их самой едкой, раздражительной бранью.

– Ах ты, горбатая образина! – кричали ему извозчики.

Новые страшные ругательства были им ответом; он грозно махал своей палкой, и слова, бессвязно слетавшие с его языка, скорее походили на шипенье змеи, чем на человеческий голос.

Извозчики хохотали. Наконец и сам он понял, как смешон и жалок, и опрометью бросился прочь.

Вылив, таким образом, часть своего бешенства, горбун стал немного спокойнее. Нет мысли его были мрачны и путались. Ему живо представилась его прошедшая жизнь, его молодость, его безумная страсть; он вздрогнул и горько усмехнулся... Казалось, он дивился, не мог понять, каким образом снова поддался старым волнениям, снова испытывает старые муки... Размахивая руками, он рассуждал вслух, что молодость и незнание жизни могли довести его до страшного положения, в котором человек безумствует и дорожит своим безумием, невыносимо страдает и благословляет свои страдания, изнемогает, подавленный унижением, и готов еще унижаться. «Гордая женщина осмеяла мою страсть, подавила и уничтожила мое самолюбие беспощадным презрением, сделала меня зверем... Но теперь?.. я люблю бедную девушку... жених ее бросил... что же теперь может помешать мне. хоть один час насладиться счастьем?..» Горбун остановился; с минуту он прислушивался – и вдруг побежал с диким криком, зажимая уши... «Она опять смеется... перестань, пощади!» – кричал он и бежал все скорей, будто за ним кто гнался. И точно: ему чудилось, что гонится за ним женщина, прежде им любимая. Она потрясала воздух громким, презрительным хохотом и, то равняясь с ним, то забегая вперед, кричит ему в уши: «Ты стар, ты безобразен; нет и не будет тебе счастья в любви!..» Наконец горбун остановился и осмотрелся; ничего не было видно кругом, кроме моря тумана; короткие ноги горбуна тонули в грязи. -

Он стоял посреди Петропавловской площади, где тогда еще не было парка.

Горбун воротился домой в глухую полночь, измученный и продрогший, и велел затопить печь. Сидя перед огнем, он бессмысленно смотрел на красное пламя. Сырые дрова пищали и стреляли, пуская курчавые струи дыму; горбун вздрагивал, осматривался и снова обращал к огню свое тревожное, измученное лицо. Одна мысль, о чем бы ни начал он думать, помрачала все другие; одно лицо стояло неотступно перед его глазами. Стараясь хладнокровно обдумывать свое положение, он сознавался, что и безобразен и стар, что Полинька слишком хороша, слишком честна, что даже деньги его тут ничего не сделают.

И он вскочил и, заскрежетав зубами, бешено вскрикнул:

– Нет, клянусь, она будет моею! я хочу мстить!..

А потом снова впал в тихую грусть, припоминал мельчайшие подробности знакомства своего с Полинькой день в день, час в час, все ее ласковые слова, добрые взгляды, – и лицо его сделалось кротко: он заплакал. В ту минуту она предстала ему в таком свете, что он уничтожился перед ней. Он думал, что недостоин ее, что оскорбил ее слишком глубоко и неблагоприятно, что она единственная женщина, которая не смеялась над ним. Он думал также, не потому ли только испугалась она любви его, что привыкла видеть в нем отца, и жалел, что дал волю своим безумным страстям...

Дрова сгорели. Свесив голову на грудь, горбун дремал. Перед глазами его мелькали лица, давно не виданные, забытые. В одном, которое поражало резкими чертами болезни, доброты и страдания, он узнал свою мать. Бледное лицо нагнулось к нему и шепчет:

– Ты не был такой, мое дитяtko! злые люди тебя таким сделали... Берегись злых людей!

– Я их убью, матушка! – вскрикнул горбун, вскочил и дико осмотрелся.

Через минуту он снова сидел, закрыв глаза, перед потухающими угольями, и новые лица, новые картины проносились перед ним. Вокруг него дикий, заглохший сад; в стороне мрачно возвышаются барские хоромы. Он входит в них. Там гремит музыка, ярко блещут огни, ходят и говорят разряженные гости. Он все идет дальше и дальше, – он ищет... кого?... вот он внезапно вздрогнул и остановился. В богатых старинных креслах сидит высокая женщина; на ней горят брильянты; глаза ее то становятся огромны, то суживаются, ноздри расширяются, лицо бледно, как у мертвой. С надменной и злобной улыбкой она манит его к себе, и, увлекаемый: непобедимой силой, он повинуется, преклоняет колени перед гордой красавицей... Она нагибается, шепчет ему нежные слова... Но вдруг красавица залилась диким хохотом, потолок с треском и грохотом рухнул.

Горбун опять вскочил и осмотрелся с испугом; уголья подернулись пеплом; было совсем темно... Он лег не раздеваясь. Та же гордая женщина, те же мысли – неотступно мучили его...

С рассветом он встал и принялся за дело: считал много и долго, писал все цифры и, наконец, задремал.

Когда он проснулся, солнце пыльными столбами проникало сквозь щели зеленых стор... Старинные бюро и шкафы, очень массивные, огромный кожаный диван, длинный стол, заваленный бумагами и книгами, пол, обитый зеленым сукном, два окна с опущенными сторами – таков был кабинет горбуна. Множество бумаг, томы Свода законов в старинных переплетах с красно-сизым крапом составляли главное его украшение.

Сон освежил и укрепил горбуна. Казалось, счастливая мысль посетила его: он положил перед собой с решительным и спокойным видом почтовую бумагу и стал чинить перо; вдруг за дверью послышались шаги.

Горбун подкрался к стене и поднял маленькую гравюру; заглянув через небольшое отверстие в ту комнату, он тихо воротился к своему столу и сел.

– Войдите! – крикнул он, когда Правая Рука постучался.

Отворив дверь, Правая Рука низко поклонился и почтительно стал у порога.

– Что нового? что хорошенького? – приветливо спросил горбун, потирая руками и сообщив своему лицу обычное выражение добродушного лукавства.

– Дурак продолжает пьянствовать, – угрюмо отвечал приказчик.

– Хе, хе, хе! не говорите так, – заметил горбун с своим тихим, тоненьким смехом, – не говорите так невежливо о моем любезнейшем друге, о вашем хозяине, аккуратнейшем, деятельнейшем и почтеннейшем Василье Матвейче. Хе! хе! хе!

– Какой он почтеннейший? – с негодованием возразил приказчик. – Пьянствует, важничает, не помнит, ни кому должен, ни с кого получить следует, затевает новые дурацкие издания...

– Ну, вы сегодня-таки сердиты на своего хозяина, – сказал горбун.

– С ним просто не хватит никакого терпения! – отвечал с жаром главный приказчик. – Поверите ли, как принялся вчера пушить... и добро бы за дело! а то, зачем сюртук с заплатами... Что ему в моем сюртуке? доходу, что ли, у него прибудет в магазине, когда я напялю новый сюртук? Да я в своем сюртуке, а получше дело свое знаю, чем он, кукла безмозглая, болван неотесанный...

– Ну, еще как-нибудь? – весело сказал горбун прищуриваясь.

– Я, говорит, в тюрьму вас упрячу... Туда же с угрозами... чучело размалеванное! А утром пьяный пришел да ну обнимать, целовать меня... «Нет у меня друга лучше – Харитона Сидорыча!» Какой я тебе друг!.. Расхвастался: жалованья, говорит, прибавлю, в долю приму, сюртук новый сошью... а чего? проспится, так, кроме ругательства, ничего не дождешься... Знаю я, каковы его обещания!.. Вот как самого упрячем в доброе место, так и будет знать, каково сюртуки новые носить. По-моему, Борис Антоныч, коли дела так пойдут, так вся его

библиотека через полгода будет у вас в кладовой. Вот и сегодня прислал двадцать пять тысяч просить.

– Добрые вести! добрые вести! – отвечал горбун. – Только знаете ли что? может быть, нам придется его поберечь.

– Поберечь? – запальчиво воскликнул Правая Рука. – Как поберечь?

– Я не говорю положительно, – отвечал горбун, – а, может быть: мне, видите, жену его жаль, дети малые... хе! хе! хе! Книги пусть свозит ко мне по-прежнему: я деньги буду, давать, только удерживайте, сколько можете, чтоб у других не забирался... на тот конец, понимаете, что если я вздумаю пожалеть его, воротить ему товар и долг рассрочить, так чтоб его другие не придушили.

– Пожалеть? товар воротить? долг рассрочить? – воскликнул с ужасом Правая Рука. – Борис Антоныч! да вы шутить изволите!

– Ну, как хотите думайте. Только как занимать опять пошлет, так прямо ко мне идите: всякую книгу в пяти копейках с рубля настоящей цены беру... А там посмотрим, куда ветер подует... Хе, хе, хе! малые дети... жена... как придется ей итти с детьми просить христа-ради, так увидим, может, кто-нибудь ее и пожалеет... станет упрашивать... хе, хе, хе!

И, довольный своей мыслью, горбун долго и весело смеялся.

Правая Рука, очевидно, имел более определенные планы касательно книжного магазина и библиотеки на всех языках, и он с жаром начал развивать их; но горбуна мучило страшное нетерпение.

Спровадив приказчика, он тотчас же принялся писать письмо. Но оно долго ему не удавалось; он рвал начатые листки и писал снова. Наконец письмо было готово. Положив его в красивый конверт, горбун стал надписывать адрес! – Рука его сильно дрожала.

Глава VII Западня

Что делала между тем Полинька с той минуты, как оставили мы ее, негодующую и бледную, у разбитого окна, с порезанной рукой?

По уходе горбуна ни Полинька, ни башмачник долго еще не говорили ни слова; они сидели молча и не глядя друг на друга. Полинька была как убитая; она даже чувствовала к себе отвращение при воспоминании, что допустила горбуна обнять себя. Наконец башмачник робко спросил:

– Он запер дверь?

– Нет, – с неприятным чувством отвечала Полинька.

– Так кто же?

– Я не знаю, – с досадою сказала Полинька.

Башмачник подумал немного.

– Не давайте ключа никому, – проговорил он.

– Я знаю!

Они снова замолчали. Наконец Полинька встала и сказала слабым голосом.

– Я лягу спать.

Башмачник молча поклонился и вышел, но тотчас же вернулся и, взяв подушку с дивана, заложил ею окно.

– Вы запрете дверь? – прошептал он умоляющим голосом.

– Да!

И они расстались. Башмачник долго еще стоял за дверью и ушел лишь тогда, как Полинька повернула ключ.

Башмачник собирался побить хозяйку, но страх – не разгласила бы она со злости, что Полинька была заперта с горбуном, – удержал его; он не сказал ни слова, даже стал вежливее с девицей Кривоноговой, которая прикидывалась, будто ничего и не знает.

Оставшись одна, Полинька плакала и бранила себя за излишнюю доброту к горбуну. Его любовь страшно пугала ее. Она так привыкла считать его стариком, что даже иногда думала, не показалось ли ей; но вспомнив его взгляды, жаркие поцелуи, Полинька вздрагивала.

На другое утро башмачник постучался к ней. Он вошел озабоченный и усталый.

– Здравствуйте, Карл Иванович! – с принуждённой улыбкой сказала Полинька.

Башмачник неловко поклонился.

– Как ваше здоровье?

– Ничего, я здорова! – скоро отвечала Полинька и невольно спрятала свою обрезанную руку под платок.

Башмачник заметил ее движение и молча стал выгружать из своих карманов аптечные баночки, бинты и компрессы.

– Это что? – с удивлением спросила Полинька.

– Для вашей ручки! – оробев, сказал башмачник.

– Да я вам не дам перевязывать! – решительным тоном сказала Полинька.

Башмачник тоскливо посмотрел на свои лекарства.

– Откуда вы это взяли? – строго спросила Полинька.

– Я?..

И башмачнику, видимо, не хотелось сказать правду, но Полинька так повелительно смотрела на него, что он, улыбаясь, отвечал:

– Я... я взял у моего знакомого, Франца Ивановича.

И, как нашаливший ребенок, башмачник покраснел и старался избегать взгляда Полинки. Полинька с улыбкой сожаления покачала головой и, грозя ему пальцем, строго сказала:

– По-вашему, сбежать в Коломну с Петербургской стороны ничего не значит?

И в ту же минуту она ласково протянула ему свою больную руку, как бы в вознаграждение за его хлопоты. Башмачник ужасно обрадовался; он не знал, какую мазь взять, нюхал, рассматривал баночки и, откашлянувшись, с озабоченным видом дотронулся до платка, чтоб развязать его.

Полинька вскрикнула: «ай!» и отняла руку.

Башмачник побледнел и дрожащим голосом спросил:

– Вам больно?

– Нет, да не дам перевязывать: вы не умеете!

Башмачник жалобно посмотрел на нее.

– Ну! – и Полинька протянула руку. – Только скорее!

Она отвернулась, закрыла глаза, нахмурила брови и готова была закричать каждую минуту, как будто ей делали операцию. Башмачник с ловкостью искусного хирурга снял платок с руки, приложил мазь и забинтовал. Улыбка удовольствия разлилась по его лицу, когда все было кончено. Он вопросительно посмотрел на Полинку, которая, как бы прислушиваясь к чему-то, с испугом проговорила:

– Щиплет!

– Это ничего, сейчас все пройдет.

Башмачник старался успокоить ее; но Полинька, раздраженная сценой с горбуном и бессонной ночью, была капризна: она не хотела ничего слушать и порывалась сорвать повязку. Башмачник пришел, в отчаяние.

– Ах, боже мой! – говорил он, – да я вам говорю, что не будет никакого вреда. Потерпите!

– Вы почему знаете? ваш Франц Иваныч не доктор.

– Я знаю, – с запальчивостью возразил башмачник. И, отвернув обшлаг рукава, он сорвал с руки повязку и показал Полинке обрез, довольно глубокий.

– Видите, мазь лежит уж часа три... я бы вам не решился так...

Башмачник покраснел и закрыл обшлагом руку. Полинька вспыхнула и, качая головой, с упреком сказала:

– Это вам не стыдно?

Башмачник так сконфузился, что чуть не плакал. Он поспешил оправдаться:

– Я нечаянно.

Но сказав это, он весь вспыхнул, как зарево, и слезы блеснули в его глазах; он опустил голову и стоял как преступник.

Карл Иваныч принадлежал к тем редким и несчастным людям, которые не умеют сказать самой невинной лжи: их совесть восстает в таком случае, и они страдают, будто совершив преступление. Странно бывает сталкиваться с такими людьми; чувствуешь, как они велики и правы, но, по опыту жизни, жалеешь их, и они вызывают невольную улыбку своей искренностью, которая годилась бы разве на необитаемом острове. Но, к несчастью, и там ее не применишь к делу: там презираются все качества, кроме телесной силы.

Полинька все это понимала и при случае умела солгать не краснея. Невинная ложь башмачника и его страдальческий вид вызвали печальную улыбку на ее личико. Она вздохнула и, как бы в утешение бедному Карлу Иванычу, сказала:

– Теперь не щиплет.

– Вот видите! – подхватил обрадованный башмачник. – Я был уверен!

– Зачем же вы обрез...

Но Полинька не договорила.

– Ай, смотрите! – вскрикнула она, указав на руку башмачника, из которой текла кровь. И Полинька зажмурилась и пошатнулась.

Башмачник кинулся поддержать ее, но она махала ему рукой. Не зная, что делать, он спрятал больную руку в карман.

Полинька села и повелительно сказала ему:

– Возьмите мазь и перевяжите руку!

Он вышел; Полинька, посмотрев вслед ему, пожалала плечами.

В тот же день, к вечеру, Полинька получила письмо по городской почте. Сначала она обрадовалась, думая, не от Каютина ли, но рука была незнакомая. Полинька стала читать:

«Как и чем вас тронуть, чтоб вы простили несчастному безумцу? Что я говорил, что я делал вчера, я ничего не помню. Вы еще так молоды, ваше сердце не огрубело: вы поймете мои страдания. Я сегодня чуть с ума не сошел при мысли, что вы не хотите меня видеть. Вы не бойтесь: я задушу свою страсть; одним только вашим счастьем и спокойствием я буду жить. Не хочу скрывать, что, увидя вас в первый раз у себя, в моем дряхлом и одиноком, как и я же, доме, я почувствовал, что я еще молод, что не все человеческие чувства убили во мне злые люди и обстоятельства. Цель моего знакомства была узнать вас, обеспечить вашу участь, дать вам средства к жизни. Вы не рождены убивать себя за трудом, вам нужна веселая жизнь. Все, что я бы мог и хотел было сделать... Но... узнав вас и ваше положение короче, я понял, что надежды мои дерзки, безумны, и я дал себе клятву смотреть на вас не иначе, как на свою дочь или сестру. Я свято сдержал ее. Я решился отдать вашему жениху весь капитал свой, чтоб ускорить ваше счастье. Я думал: пусть они живут счастливо; много ли надо мне, старику? я буду любоваться их счастьем, и мои страдания облегчатся. Мне так дорого ваше счастье, что я писал к одному из моих приятелей, живущему постоянно в К, как и что делает тот человек, которого ожидает счастье быть мужем такой кроткой и добродетельной девицы. Вчера утром я получил ответ. Писать ли мне вам то, что меня чуть не убило? Да, в первую минуту я был возмущен его поступком. Как! вас, вас обмануть! да это Невероятно! Свататься, тогда как он бросил свою невесту в Петербурге! а еще ужаснее молчать о своих намерениях...»*

Полинька вскрикнула и зарыдала. Злость и отчаянье душили ее. Не скоро она решилась продолжать чтение:

«Да, можно было от чего одуреть. Но я, Палагея Ивановна, человек; я знаю, что и стар, и уродлив, но прежде всего я человек. Я немолод только годами, а чувства мои еще слишком свежи и сильны. Я сознаюсь, что это великое мое несчастье. Когда первые минуты моего отчаяния и злобы прошли, я сам не знаю, как вообразить себе, что я своею преданностью вас трону, что седины мои будут вам порукой в прочности вашего счастья... Я поспешил, я забылся, я испугал вас. Вы так же отчасти способствовали этому. Ваше подозрение о каких-то умыслах, ваши слова затмили мой рассудок. Но теперь вы видите, что меня заставило открыться вам. Неужели вы не простите минуты безумия тому человеку, который готовился для вас на все жертвы? Вы теперь несчастны: может быть, вы скорее поймете мои мучения. Нет в мире отца, который бы нежнее любил свою дочь, чем я вас, Палагея Ивановна, буду любить теперь, когда все для меня кончено, когда узнал я о

несбыточности моих надежд. Нет брата, который бы столь уважал свою сестру, как я уважаю вас.

Ваши и пр.

Борис Добротин.

PS. Одна ваша строка меня оживит. Нет страшнее мучений на свете, какие я теперь испытываю. Клянусь памятью моей матери, что я во всем раскаялся. Да смягчится ваше сердце и да простит оно несчастному его вольные и невольные проступки, за которые – видит бог – я жестоко наказан!.. Письмо из К у меня в руках; если пожелаете, можете его видеть».*

Так кончалось письмо. Полинька, как сумасшедшая, плакала над ним. Она не знала, к кому прибегнуть, у кого просить совета. У Кирпичовой много и своего горя; притом Полинька вспомнила, что не послушалась ее предостережений, и теперь боялась упреков. Самолюбие также не позволяло ей видеться с горбуном: мысль, как она оскорбит своего жениха, если слова горбуна окажутся ложью, пугала ее. Она дни и ночи плакала, ей было противно смотреть на людей, с башмачником она обходилась очень сухо, что убивало его. Горбун писал к ней каждый день, умолял о позволении явиться и бывать у ней по-прежнему, доказывал, что Каютин, обманув ее, не так виноват, как может показаться: он еще молод, и страх связать свою участь тяжелыми обязанностями семьянина мог подвинуть его на дурной поступок; советовал ей первой написать, что она разрывает с ним все отношения, и клялся, что он заменит ей всех; богатство его будет принадлежать ей; люди, любимые ею, будут и его друзьями, не только она будет жить в довольстве, но даже и друзьям ее нищета не будет знакома; клялся, что величайшее его счастье быть ей отцом и братом... и затем снова начинались мольбы о свидании. Он даже писал, как тяжело взять на свою душу погибель человека, и вслед за тем прибавлял, что он так сильно страдает, что готов наложить на себя руки. «Не допустите человека совершить преступление; оно падет на вашу голову!» Горе так душило бедную Полиньку, что она, наконец, решилась идти к Надежде Сергеевне, рассказать все и просить совета. Когда же Надежда Сергеевна, выслушав ее, стала с негодованием бранить горбуна, уверяла, что он с умыслом чернит Каютина, и просила Полиньку ничему не верить, – Полинька так обрадовалась, что вскрикнула и с рыданием кинулась обнимать свою подругу. Будто камень свалился с ее груди, когда она услышала голос в защиту дорогого ей человека. Надежда Сергеевна советовала даже не читать вперед писем горбуна, а возвращать их нераспечатанными. Полинька так и сделала с первым письмом горбуна, которое в тот же вечер получила.

Дня через два после того ей случилось выйти со двора. Она повеселела; все мысли ее были теперь заняты Каютиным; она стыдилась прежних своих опасений и слез. Отойдя далеко от дому, Полинька почувствовала, что кто-то за ней идет. Быстро повернувшись, она отскочила в сторону и остолбенела: перед нею стоял горбун. Вся его фигура выражала страшное страдание; платье было в беспорядке; глаза его глубоко впали, зубы были плотно стиснуты, как будто он боялся открыть рот, чтоб не вылетел стон из его груди. Полинька, опомнясь, быстро пошла своей дорогой; но ноги плохо повиновались ей, и она готова была упасть.

Тихий голос горбуна долетел до нее. В нем было много странной насмешливости.

– Вы меня не узнали?

Полинька вздрогнула и ускорила шаги.

– Что же вы молчите? – строго спросил горбун и поравнялся с ней.

Она отскочила, остановилась и смотрела прямо ему в лицо. Он вынул из кармана письмо и подал ей.

– Я болен, я едва хожу, а вы заставляете меня целые дни бегать по городу, чтоб встретить вас.

– Я не буду читать! – сказала Полинька, отталкивая письмо рукою.

– Нет, вы должны его прочесть! – повелительно сказал горбун и силою вложил ей письмо в руку.

Полинька вздрогнула от его прикосновения: ей живо представился тот ужасный вечер, страстные взгляды горбуна, его поцелуи и объятия. Вспыхнув, она схватила письмо, разорвала его в мелкие кусочки и с негодованием бросила далеко от себя.

Бумажки, дрожа, летали по воздуху.

Горбун помертвел; губы его дрожали, адская злоба разлилась по всему лицу. Он задышался от волнения. Кинув разорванное письмо, Полинька посмотрела на горбуна с отвращением и скоро пошла прочь. Горбун с минуту стоял в каком-то оцепенении; лоскутки его письма, как злые духи, летали и кружились в воздухе и падали у его ног.

Он сделал отчаянный жест и пустился догонять Полиньку, которая чуть не бежала.

– Напрасно вы так бежите: вы думаете, что я уж так стар, что не догоню вас? – язвительно сказал горбун, догнав Полиньку.

Она молчала и все бежала вперед.

– А, вы не хотите меня слушать? вы не хотите читать моих писем? – угрожающим тоном сказал горбун, заглядывая ей под шляпку.

Она быстро отвернулась; горбун обошел на другую сторону и, встретив испуганный взгляд ее, тихо засмеялся.

– Вы думаете, – продолжал он, – что вы хорошо делаете, поступая со мной так жестоко? Я знаю, вас, верно, учат, наговаривают на меня...

– Меня никто не научает! – сказала Полинька.

– А, а, а! так вы сами все это делаете! так вы по собственному желанию меня тираните!

И горбун заскрежетал зубами.

– Хорошо, хорошо, – прибавил он, – мучьте меня, рвите мои письма, топчите меня в грязь, презирайте старика!

И горбун все возвышал голос и стучал палкой о тротуар. Прохожие начали посматривать на них. Полинька тоскливо осматривалась и, увидев извозчика, закричала ему:

– Извозчик!!

– Не зовите его! – повелительно сказал ей горбун вполголоса.

– Я устала, я хочу...

– Я не пушу вас! – грозно сказал горбун. Полинька еще громче позвала извозчика; извозчик подъехал, соскочил с дрожек и, нагнувшись к Полиньке, спросил:

– Куда угодно, барыня?

Полинька хотела говорить, но горбун закричал извозчику:

– Не надо, пошел прочь!

– Надо, что ли? – сердито спросил извозчик.

Полинька сделала движение к дрожкам: горбун схватил ее за руку и, сжав ее, шепнул:

– Не смейте! Пошел прочь, дурак! – крикнул он извозчику.

Извозчик кинулся на свои дрожки и, ударив по лошади, насмешливо сказал:

– Туда же, ругаться, горбунишка пучеглазый!

Стук отъезжавших дрожек привел Полиньку в отчаяние, она остановилась и, посмотрев с злобою на горбуна, полным слез голосом сказала:

– Чего вы от меня хотите? Я вас ни видеть, ни слушать не хочу!

И она хотела перебежать дорогу, но столкнулась лицом к лицу с молодым белокурым мужчиной. Вскрикнув и с испугом взглянув на него, Полинька пустилась через грязную улицу, проворно перепрыгивая с камня на камень.

Горбун кинулся за нею; но молодой человек, протянув свою щегольскую палку, загородил ему дорогу и жадно любовался грациозными ножками Полиньки: перепуганная, забыв все, она высоко приподняла платье.

– Куда ты? куда на старости лет? – насмешливо спросил молодой человек горбуна.

В его взгляде и движениях было что-то презрительное. Лицо его было нежно, волосы густые, золотистые, костюм щеголеват и изыскан до щепетильности.

Горбун с сердцем оттолкнул палку и пустился в погоню за Полинькой; молодой человек засмеялся, провожая его глазами. Завидев горбуна, Полинька перебежала на прежнюю сторону улицы и быстро прошла мимо молодого человека, не заметив его. Но он не спускал глаз с раскрасневшегося личика девушки, пока оно было видно.

Горбун тоже перебежал улицу.

– Стой! – повелительно крикнул ему молодой человек. – Изволь-ка сказать, за кем это ты бегаешь? а?

И он засмеялся. Горбун не отвечал, продолжал смотреть на бежавшую Полиньку.

– Да что это? что с тобой?

Горбун быстро повернул голову к лицу молодого человека и смотрел вопросительно, с неудовольствием, которого не мог скрыть.

– Кто она такая?

– Разве она вам понравилась?

– Ну, а тебе нужно знать? – с презрением спросил белокурый молодой человек.

– Да, я знаком с нею.

– То есть как знаком? – двусмысленно спросил молодой человек.

Горбун стиснул зубы и с запальчивостью отвечал;

– Ну, как бы вы были знакомы с своей невестой!

– Что такое? с невестой?! ха, ха, ха! так ты жених?.. ха, ха, ха!.. Ну-ка скажи мне, где живет твоя невеста?

Горбун побледнел.

– Вам на что? – спросил он. – Я хочу ее видеть, то есть твою невесту... ха, ха, ха!

– Ее трудно видеть, – глухим голосом сказал горбун.

– Что за вздор? ты, кажется, гордишься своей будущей женой.

Горбун весело улыбнулся.

– Вот, небось, – заметил молодой человек, – про эту мне ничего не говорил, а она получше всех твоих рекомендованных.

– Незачем было говорить: я знал, что она не чета другим... -

Молодой человек презрительно засмеялся;

– Ты уж слишком много ей приписываешь! не потому ли, что она твоя невеста?

– Смейтесь, сколько угодно; но вы знали только женщин слабых, которые любят деньги. Есть еще другие, которые умрут с голоду, а не продадут себя: так, видите ли, я потому вам ничего и не говорил о ней.

– Ну, хорошо, – перебил молодой человек, – положим, есть такие женщины, положим! но, видно, они существуют только для горбатых женихов. Вот, я думаю, тебя надует!

И он засмеялся. Горбун задрожал.

– Да она еще не моя невеста! – сказал он задышающим голосом.

– Ну, мне все равно! А вот, знаешь ли, что я тебе скажу? ты лучше достань мне денег,

– Хорошо, только проценты те же.

– Помилуй, брат, это чистое воровство, грабительство! – запальчиво возразил молодой человек.

– Как угодно! – равнодушно отвечал горбун.

– Ну, так и быть, обрабатывай!

И молодой человек пошел прочь, но тотчас же обернулся к горбуну и крикнул:

– Ты мне адрес ее принеси!

– Я уж вам сказал, – с бешенством отвечал горбун, – что она не такая... – Как ты глуп сегодня с своей недоступной красавицей!

Они разошлись.

Прибежав домой, Полянка собрала письма горбуна, зажгла свечу и начала их жечь. Пламя быстро охватило тонкие листки; Полянка с отвращением кинула их и, сердито затоптав черный пепел, по которому бегали огненные искры, гордо подняла голову, как будто победив своего врага.

С того дня она не решалась выходить со двора одна. Время шло, а новых писем от горбуна не было, и Полянка уже начинала думать, что он забыл о ней, как вдруг опять принесли письмо. Обманутая адресом, надписанным незнакомой рукой, она распечатала и прочла его. Оно состояло из нескольких строк:

*«Близкие вам люди находятся в очень затруднительном положении. Вы, верно, догадываетесь, кто? Срок по заемному письму в очень значительную сумму окончился. Если вы принимаете участие в них, то доставьте мне случай вас видеть. При свидании вы узнаете все в подробности. Ваш и пр.
Борис Добротин.»*

Полянка испугалась и хотела тотчас бежать к Надежде Сергеевне, но страх встретиться с горбуном остановил ее; она решилась подождать башмачника, которого не было дома, и просить его проводить ее. Зная хорошо жизнь Кирпичова, его беспечность, расточительность, она не могла не поверить письму горбуна, и беспокойство ее с каждой минутой возрастало. Она уже решилась было писать к горбуну, чтоб он пришел к ней, но одумалась. Дождь, шедший весь день, к вечеру полил сильнее. Полянка прислушивалась к его однообразному шуму, к унылому вою ветра, и волнение ее усиливалось. А башмачника все нет! Она не знала, что делать.

Вошла хозяйка и подала записку: Надежда Сергеевна просила Полянку приехать тотчас же к ней. Это окончательно убедило ее, что горбун прав.

– Возьмите мне извозчика, – сказала Полянка хозяйке, спеша одеться.

– На что вам извозчика? ведь карета за вами прислана.

– Неужели? – радостно вскрикнула Полянка, но тотчас же прибавила печально: – Боже мой! не случилось ли чего?

– Ишь, дождь как льет, точно из ведра! – заметила хозяйка, протирая запотевшее стекло.

– Потрудитесь запереть мою комнату, а ключ положите на вторую ступеньку; я, может, поздно приеду, – торопливо сказала Полянка и вышла.

Проводив ее глазами, хозяйка начала все обнюхивать и рассматривать.

– Поздно приду! – ворчала она. – Добрые люди уж спать теперь ложатся, а она в гости едет.

Полянка вышла за калитку. На улице было темно и сыро.

– Сюда, барыня, сюда! – крикнул извозчик, открывая дверцы кареты.

– Кто тебя прислал?

– Кто? – запинаясь, повторил извозчик. – Да кирпичовский артельщик нанимал.

– А! ну, так скорее, скорее!

И Полянка кинулась в карету, горя нетерпением видеть Надежду Сергеевну.

Извозчик лениво захлопнул дверцу; четвероместная карета медленно двинулась. Сырой и душный воздух, скопившийся в ней, неприятно подействовал на Полянку. Унылый вой ветра теперь еще яснее слышался ей, а дождь громко барабанил в крышу кареты и неистово стучал в стекла, будто негодуя, зачем их не отворят. Мысли Полянки были печальны: положение Кирпичовой представлялось ей в мрачных красках. Она жалась в угол кареты и плотнее куталась в свой бурнус.

Вдруг в карете послышался легкий шорох.

Сильный страх охватил Полиньюку. Она прислушивалась, с усилием всматривалась, – наконец стала храбриться, старалась отвлечь свое внимание, даже начала тихонько петь; но карету сильно трянуло, и что-то живое зашевелилось в ней.

Полиньюка с ужасом кинулась к окну, отворила его и закричала извозчику:

– Стой!!

Но слабый голос ее был заглушен воем ветра и стуком колес. Дождь хлестал ей в лицо, ветер срывал с нее шляпку... Полиньюка отшатнулась в глубину кареты и снова тот же шорох явственнее прежнего послышался ей.

Ни жива ни мертва, села она на свое место, и кровь хлынула ей в голову, сердце замерло: против нее в темноте сверкали два глаза, неподвижно устремленные на нее.

В одну минуту в уме испуганной девушки мелькнула тысяча предположений. Не вор ли? но что за мысль забраться в карету? и что у нее взять? разве один бурнус?.. «Что же это такое?» – в ужасе спрашивала себя Полиньюка, не сводя глаз с угла кареты, где продолжали сверкать неподвижно устремленные на нее глаза.

Или это призрак, порожденный ее расстроеным воображением?

Страх всё сильнее овладевал ею, и, наконец, она бросилась к дверце кареты и торопилась открыть ее; но дрожащие руки плохо повиновались ей, силы изменяли...

Карета быстро катилась по мостовой с страшным стуком, блестящие глаза стали все ближе и ближе подвигаться к Полиньюке.

– Кто тут? кто тут? – закричала она диким голосом.

Ответа не было. Полиньюка кинулась к другой дверце и пыталась отворить ее. Все было напрасно: ручка вертелась, а дверца не уступала, как будто была заколочена.

– Боже мой! боже мой! – в отчаянии повторяла Полиньюка и, закрыв лицо руками, заплакала. Глухие рыдания раздавались в карете.

И вдруг тихий, дрожащий голос спросил:

– О чем вы плачете?

– Борис Антоныч! – вскрикнула Полиньюка. Она не ошиблась: то был действительно горбун.

– О чем вы так горько плачете? – более твердым голосом повторил он. – Зачем вы здесь? – в ужасе спросила Полиньюка.

– Мне нужно вас видеть! Отчего вы мне не отвечали на мою сегодняшнюю записку? – строго спросил горбун, приближаясь к Полиньюке.

– Выпустите меня ради бога, выпустите! – отчаянно кричала она, мешаясь в карете.

– Одно слово! – умоляющим голосом сказал горбун.

– Я не хочу вас слушать, выпустите меня! – продолжала кричать Полиньюка, зажимая себе уши.

– Палагея Ивановна, неужели...

Горбун не успел договорить своей мысли, как Полиньюка кинулись к окну и, высунувшись из него, кричала:

– Стой! спасите, спасите!

– Палагея Ивановна! что вы делаете? успокойтесь!

И горбун с силою оттащил ее от окна, потом пошарил в углу кареты, и в ту же минуту карета остановилась.

Горбун отворил дверцы и, отбросив подножку, сошел вниз, но на последней ступеньке остановился и, повернувшись к Полиньюке, сказал:

– Я вижу, что вы решились меня убить своим безрассудным поведением. Вы мне не даете слова сказать вам в мое оправдание. Но вы теперь ошиблись. Я употребил средство даже неприличное в мои лета: я спрятался, в карете... не затем, чтоб оправдываться... я хотел с вами гово-

речь о деле очень важном, где наши отношения были бы совершенно в стороне. И вы жестоко меня обидели... Вы меня выгнали, Палагея Ивановна! смотрите, не раскайтесь!

Горбун прыгнул и стал проворно захлопывать ступеньки.

Полинька испугалась. Голос горбуна звучал такой искренностью... и он сам так покорен... между тем, что же будет с Надеждой Сергеевной?

И бедная девушка машинально произнесла:

– Борис Антоныч!

Как ни был слаб ее голос, горбун расслышал его; в одну, секунду он очутился опять в карете против Полиньки и спросил ее:

– Что вам угодно?

Но быстрота, с какою вскочил он в карету, поразила Полиньку, и в новом испуге она отвечала:

– Я вас не звала!

Горбун заскрежетал зубами и, быстро выпрыгнув из кареты, угрожающим голосом сказал:

– Прощайте... может быть, навсегда!

Потом он засмеялся по-своему – тихим ироническим смехом, с силой захлопнул дверцу кареты и дико закричал кучеру:

– Эй, вези, куда приказано!

Горбун не выходил у Полиньки из головы. Его большие сверкающие глаза, голос, которым он прощался с ней, быстрота движений, странная в такие лета, – все так поразило ее, что она не могла ни о чем больше думать...

Уж не один, а тысячи горбунов сидели в карете: их глаза были устремлены на нее, и скрежет зубов заполнял карету. Полинька чувствовала, что в голове у ней все вертится; горбуны тоже завертелись... Полинька закрыла глаза и прислонила головку к углу кареты. Она не помнила, долго ли оставалась в таком положении... ветер вдруг пахнул ей в лицо, и знакомый голос произнес так проворно, как только могут говорить одни сидельцы Щукина двора, зазывая прохожих в лавки:

– Пожалуйте-с!

Узнав кирпичовского артельщика, обрадованная Полинька чуть не кинулась ему на шею.

– Здесь? – торопливо спросила она.

– Здесь, пожалуйста-с! – отвечал артельщик и, пропустив Полиньку в калитку, закричал извозчику: – Пошел!

Калитка с шумом захлопнулась. На дворе была страшная тьма. Нигде ни признаков огня. Дождь лил как из ведра.

– Куда же мы приехали? – спросила Полинька, осторожно ступая по какой-то скользившей доске за своим вожатым.

– Пожалуйте-с! – отвечал опять артельщик и стал подниматься на какое-то крыльцо.

Они вошли в сени, потом, отворив какую-то дверь, снова поднялись по лестнице и, наконец, очутились в длинном и темном коридоре. Шаги их печально раздавались в тишине. Сырой, душливый воздух, паутина, которую Полинька чувствовала на своем лице, – все показывало, что люди были здесь редкие гости. Полиньке опять стало страшно, и, схватив артельщика за руку, она робко спросила:

– Да куда же мы идем?

– Пожалуйте-с, – отвечал артельщик и отворил дверь.

Полинька нерешительно переступила порог, и дверь тотчас захлопнулась.

Комната, куда вошла Полинька, была совершенно темна.

– Где же Надежда Сергеевна? – спросила Полинька и обернулась.

Но артельщика уже не было.

Вдруг комната осветилась, и ужас, ни с чем не сравнимый, охватил душу несчастной девушки: у противоположной двери показалась горбатая фигура со свечой в руке. Полинька хотела вскрикнуть, но голоса не достало, и она стояла недвижно, не сводя своих черных прекрасных глаз, обезумленных ужасом, с горбуна...

Точно, фигура его могла испугать в ту минуту. Он был бледен, по губам его пробежала судорожная улыбка, тогда как глаза сохраняли выражение неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвечник, дрожала. Медленно и плавно стал он подвигаться вперед, поводя свечой и глазами вокруг комнаты. Увидев помертвелое лицо Полиньки, он приостановился и поставил свечу... Через минуту, заложив руки за спину и язвительно улыбаясь, начал он приближаться к Полиньке мерным и тихим шагом, как будто боялся ее испугать.

Но сильней уже не было возможности испугать несчастную Полиньку... С отвращением отшатнувшись при его приближении, она слабо вскрикнула и упала... в объятия горбуна.

Башмачник был покоен всю ночь: ему сказали, – что Полинька поехала к Надежде Сергеевне. Утром рано он сидел за работой и прилежно обшивал ленточками башмаки. Вдруг к нему вбежала встревоженная Надежда Сергеевна и отчаянным голосом спросила:

– Где Поля?

Работа выпала из рук башмачника; он вскочил и дико смотрел на Надежду Сергеевну.

– Разве она не у вас? – спросил он.

– Ее не было вчера у меня; по просьбе мужа я писала к ней, чтоб она приехала. Ждала, ждала: нет ее!

И она заплакала.

Башмачник схватил себя за голову:

– Где же она? Боже мой, что с ней? не он ли... злодей...

Башмачник поднял голову; лицо его налилось кровью, посинелые губы дрожали. Он кинулся к Надежде Сергеевне и, схватив ее руки, раздирающим голосом кричал:

– Где же, где же она? – говорите скорей!

Сложив руки на груди, он смотрел на нее умоляющим взором и слабым голосом повторял:

– Где же она?

– Я боюсь... – начала Надежда Сергеевна; но слезы помешали ей продолжать.

В каком-то исступлении башмачник бегал по комнате. Он рвал на себе волосы, бил себя в грудь, страшно стонал, будто ему вывертывали члены... Надежда Сергеевна забыла собственное горе и стала его успокаивать.

– Я сейчас пойду к нему, – кричал башмачник, – я заставлю его!

– Боже мой! если что случилось, о, она не переживет! – в испуге сказала Кирпичова.

– Замолчите, замолчите! – закричал башмачник, зажимая себе уши.

– Сходите попросите кого-нибудь, чтоб защитили сироту!

– А! – радостно закричал башмачник. – Я знаю, кто может ее защитить!

Он ударил себя в лоб и бросился в другую комнату. Там он быстро стал одеваться, все надевал наизусть, ничего не мог отыскать, держал шляпу в руках, а сам искал ее всюду.

– Бегите скорее! что с ней?.. Бедная, бедная Поля!

Башмачник выбежал из комнаты. Надежда Сергеевна хотела было идти за ним, но не могла его догнать. Она вернулась в его комнату и залилась слезами, повторяя отчаянным голосом:

– Бедная, бедная Поля!..

Глава VIII

Выстрел

Много городов, деревень, мостов, барских домов, бесконечных равнин и лесов проехал Каютин. Много раз спускался он в овраги и поднимался на гору, перекладывал свои пожитки, засыпал и просыпался, то вспрыснутый дождем, то окруженный облаком пыли.

С лишком пятьсот пестрых верстовых столбов мелькнуло перед его глазами. Сначала все занимало и развлекало его... Лес, бесконечно тянувшийся вдоль дороги, манил его в свою прохладную тень, и, уступая очарованию, он иногда останавливался ямщика и бежал туда... Сырым холодом обдавало его; в таинственном полумраке, в глухом, непрерывном ропоте деревьев чудилось ему что-то угрожающее; тысячи лесных криков разом оглушали его, – он вздрагивал, ему становилось и грустно и страшно. И бесконечная нива с волнующимися колосьями, и другая нива, черная, рыхлая, с рассеянными по ней поселянами, и барский дом, мелькнувший на пригорке, среди подстриженной зелени, заборов и служб, и баба с вальком, странно согнувшаяся в глубине оврага на лаве, и помещик, проскакавший на лихой тройке с колокольчиком и бубенчиками, и заседатель, едущий на обывательской паре... словом, все встречное живо интересовало молодого человека и пробуждало в нем бесконечные думы...

Он читывал рассказы, о Южной Франции, о Рейне, где, по выражению туристов, каждый клочок земли, каждая развалина нашептывают путнику «повесть седой старины». И не встречая древних развалин, Каютин вопрошал мелькавшие перед ним леса, нивы и прочее.

И леса, нивы, хоромы и деревеньки не оставались безответными на его вопросы.

Когда он входил в лес и останавливался, объятый таинственным трепетом, вдруг невдалеке раздавался резкий звук охотничьего рога, слышались дикие крики и лай собак. Крики становились все ближе и разнообразнее, хор собак все дружнее и музыкальнее; но Каютин быстро удалялся к своей повозке и приказывал ехать скорее, вероятно опечаленный воспоминанием, что отец его, дед, прадед и все предки были великие псовые охотники. Таким образом, в диких звуках, ответивших на его сокровенные думы, может быть слышался ему рог прапрадеда, положившего основание нищете своего потомка.

Когда случалось ему засматриваться своим вопрошающим взором на чернеющую ниву и мирного селянина, бредущего в своей сельской одежде за бороной, мужик, вдруг затягивал унылую песню; босой мальчик лет шести, которого ветер сбивал с ног, шел к нему с обедом. Мирный селянин садился на свою борону, ел хлеб с луком, пил квас из деревянного жбана, нагнувши его к своему лицу, и потом снова шел за своей бороной и затягивал свою песню. Каютину становилось тяжело – вероятно, от песни: наши народные песни так унылы.

Но нет надобности пересказывать, какие думы и легенды нашептывали Каютину чернеющие нивы, серые деревеньки, бесконечные леса и барские хоромы с огромным садом, домашним театром и затеями деревенской роскоши.

Неудивительно, что Каютина занимала дорога. Он не видал деревни и поля с десятилетнего возраста, если исключить дачи, куда иногда отправлялся он к знакомым напиться чаю и сыграть в преферанс.

Один сын у отца, Каютин рос свободно и весело на вольном деревенском воздухе. Но отец его промотался; на последние деньги отправил он сына в Петербург к старому сослуживцу, с просьбой определить мальчика в дворянский полк. С тех пор Каютин не видал своего отца и своей родины. Старик скоро умер. Его деревню, проданную с публичного торга, купил родственник покойного, приходившийся нашему герою дядей по матери. К нему-то теперь ехал Каютин.

Поступить в дворянский полк возможности не представлялось, за что Каютин, не чувствующий призвания к военной службе, впоследствии горячо возблагодарил судьбу. Его

отдали в гимназию. За него платил дядя. Каютин никогда не отличался особенным прилежанием, но, начав понимать свое положение, учился настолько хорошо, что выдержал экзамен в университет.

Около того времени дядя, человек причудливый, решительно отказался давать ему содержание.

Каютин стал жить уроками, причем имел удовольствие убедиться собственным опытом, как труден и подчас горек хлеб, добываемый продажей своего времени в том периоде жизни, который нужен человеку на, собственное образование.

Кончив курс, он попробовал служить; но служба требует труда упорного и непрерывного, – а Каютину хотелось жить. Он не всегда являлся аккуратно к своей должности и подвергался выговорам. Тут примешались дела, которые называют сердечными, – Каютин сошелся с Полинкой и горячо полюбил ее: аккуратно ходить на службу не оказалось уже никакой возможности. Каютин вышел в отставку и возвратился к урокам, проводя все остальное время у своей невесты.

Школа бедности, которую все безусловно называют очень хорошею, но куда никто не отдаст детей своих добровольно, в одном случае принесла Каютину действительную пользу: он вынес из нее глубокое убеждение; что бедному человеку жениться сущая гибель.

Полинька, выученная в той же школе практическому взгляду на жизнь, была того же мнения.

Вот почему, они не сделали той глупости, которую многие делают в их лета и за которую потом дорого платятся.

За всем тем оба они были совершенные дети; доверчивы, склонны к увлечению и неопытны. Будь Каютин поопытнее, встретясь случайно с человеком, способным поколебать его безотчетную веру, он не отважился бы на свое трудное странствование.

Но судьба распорядилась иначе. Она не столкнула его с таким человеком в решительную минуту, – и вот Каютин несется навстречу неизвестному будущему.

Но мысль о покинутой невесте не оставляет его ни на минуту. Он беспрестанно оглядывается: не видит, разумеется, ничего, кроме пыльной дороги, прихотливо вьющейся по крутизнам и оврагам, и только чувствует с нестерпимой болью в сердце, что все растет и растет пространство между ним и его Полинкой... Где конец его долгому странствованию? и какой конец? что будет с ним и что с Полинкой? Так ли она тверда, как говорила, и ей ли, слабому, беззащитному и почти бесприютному ребенку, вынести все невзгоды, которые, может быть, ее ожидают? Не умрет ли она при первом несчастье, которого некому будет от нее отвратить, при первой болезни, в которой некому будет позаботиться о ней?.. Не оскорбят ли, не опутают ли ее злые и развратные люди, и не падет ли она, когда болезнь или другое несчастье доведет ее до нищеты? она молода и беззащитна...

Не пожертвовать ли долгим, спокойным, но далеким и, может быть, несбыточным счастьем короткому, но верному счастью? не воротиться ли? Полинька, верно, будет рада...

И Каютин почти готов был воротиться... Но другие мысли толпой теснились в его голову... Сырая, холодная комната; плач больного ребенка; бледная, печальная женщина, некогда прекрасная, теперь изнуренная трудом и заботой... Она сама приносит связку щеп, чтоб нагреть сырой подвал... Она проводит бессонные ночи за работой. Она молчит, она весело ему улыбается... притворяется счастливой... но ее розовые щеки блекнут, в ее улыбке проглядывают слезы... И это его Полинька!.. – Она сама носит дрова, она поминутно выбегает в сени; но частая перемена воздуха только усиливает ее губительный кашель, который она напрасно старается скрыть... грудь ее расстроена... Она должна умереть. И сам он? где прежняя веселость? Упорная борьба с нуждой сделала его угрюмым, ожесточила его... С досадой и злобой смотрит он на страдания близких сердцу, которым «не может помочь... Упреки, сожаления и проклятия вертятся у него на языке... Полинька умирает в чахотке...

– Ступай скорее: получишь на водку! – кричит Каютин ямщику взволнованным голосом. Он помнит своих женатых приятелей, которые были здоровы и веселы – и стали унылы и бледны; были благородны и добры – и стали малодушны и раздражительны; говорили о снисхождении и прощении – и стали тиранами своих бедных жен, которые в свою очередь их тиранили. . . „А ведь у многих из них, – думал Каютин, – характера было не меньше моего, и любили они своих невест до безумия. . . нужда! нужда!“

Не воротился Каютин, но подавался все вперед с заметной быстротой, благодаря легкости своей поклажи, хорошей дороге и русским ямщикам, которые сами не любят ездить тихо. Он платил за пару, но ему везде запрягали тройку.

Тройка его спустилась в овраг, проехала с грохотом по живому мосту, в котором ходило и дребезжало каждое бревно, взъехала на пригорок и бойко -подкатилась к станционному дому.

– Лошадок, да поскорее! – сказал Каютин, выскочив из телеги, весь запыленный, и слегка кивнул головой смотрителю, поражавшему каким-то странным, напряженно-грозным выражением лица, изрытого рябинами, в глубине которых виднелись черные точки, так что физиономия смотрителя имела такой вид, как будто была посыпана перцем.

Смотритель курил и, сильно, надув щеки, пускал дым с непринужденностью паровой трубы, исправно делающей свое дело. На его коротеньком, очень тоненьком чубучке, как яйцо на булавке, торчала огромная труба с медной крышечкой, которою можно было убить человека, Все вокруг него имело размеры обширные и смотрело грозно.

При появлении Каютина он выдернул изо рта чубучок с таким резким движением, как будто вытаскивал гвоздь, глубоко вколоченный в стену, медленно осмотрел проезжающего и с видом человека, идущего брать приступом крепость, отвечал:

– Нету лошадок, ваше благородие! все в разгоне.

И он поспешно отступил от Каютина и поднес чубук к губам, как будто защищая огромной трубкой свое лицо.

– Нету лошадок? – возразил Каютин своим обыкновенным, полусутолым, полусердитым тоном и сделал шаг к смотрителю.

Смотритель опять попятился от него и поднял повыше трубку.

– Что вы, почтеннейший, шутить, что ли, со мной хотите?

– Извините, – заговорил смотритель робким голосом, но сохраняя в лице все то же напряженно-грозное выражение, – я не понимаю, за что вы изволили рассердиться. Может быть, я не так вас титуловал? Извините! не в моих правилах обижать проезжающих. Если едет граф, говорю: ваше сиятельство; едет генерал, говорю: ваше превосходительство. Но я не имею чести знать. . . вашей подорожной. . . Я, кажется, ничего такого не сказал. . . а если сказал, простите великодушно. . . Я горд, я горяч, но я. . .

Каютин усмехнулся.

– Да неужели у вас в самом деле нет лошадей? – спросил он самым кротким голосом и попятился, а руки спрятал за спину.

Тогда смотритель храбро сделал шаг вперед. . .

Лошадей точно не было, о чем всего лучше свидетельствовали дормез и бричка чудовищной формы, стоявшие перед станционным двором.

Нечего было делать! Каютин отправился дожидаться в станционную комнату.

Здесь прежде всего кинулось ему в глаза чрезвычайное обилие разных птиц: дупелей, бекасов, куличков, скворцов, пеночек, куропаток, коростелей, снигирей, жаворонков, курочек, перепелок. Все они, без сомнения, прежде оглашали окрестные леса и болота своими песнями и криками; но жестокосердный смотритель содрал с них кожу вместе с перьями, высушил их, наклеил на „лоскутки и развесил в рамках для украшения своей комнаты и услаждения господ проезжающих. В этой догадке убеждало Каютина и несколько ружей, грозно смотрящих со стен и из углов комнаты. Еще яснее свидетельствовала о свирепых наклонностях смотрителя старая

медвежья шкура, валявшаяся на полу. Обилие птиц отняло законное место даже у портрета генерала Блюхера и других художественных произведений, обыкновенно украшающих смотрительские комнаты. Только одна картина была здесь, изображавшая высокую, растрепанную женщину, едва державшуюся на ногах, и низенького человека, охватившего ее талию; подпись: Наполеон, восстанавливающий Францию. Место бюстов заменяли чучела огромных глухарей с красными глазами, расставленные по углам и повешенные на полке под потолком, по протяжению одной стены. Невольный страх охватил Каютина, когда он поднял голову вверх: глухари, казалось, готовы были всей стаей кинуться на него и заклевать его своими черными клювами.

Кроме множества птиц, никаких особенных украшений в комнате не было. Ее мебель составляли: старый кожаный диван, несколько таких же стульев, два стола и длинное зеркало, склеенное из нескольких кусков, так что одна половина лица казалась в нем смуглою и кривилась вправо, а другая белою и кривилась влево. На середине потолка висело чучело огромного орла с разверстым клювом. Орел этот блистательно довершал ужас, наводимый комнатой.

За столом сидело три проезжих господина, из которых один сразу поразил Каютина необыкновенной тучностью. В ожидании лошадей они играли в карты, покуривали и пили пунш, принадлежности которого находились на другом столе. Мухи черными тучами слетались к сахару и производили в комнате непрерывное жужжанье, болезненно действовавшее на нервы.

При появлении Каютина все три проезжие господина покинули карты и начали с чрезвычайным любопытством осматривать его. Каютин в благодарность за такое внимание кивнул им слегка головой.

– Нашего полка прибыло! – сказал с любезностью тучный проезжий, с красного лица которого лил пот ручьями.

Его черная с брандебурами венгерка и жилет были расстегнуты; складка рубашки приподнялась, так что сбоку можно было любоваться его широкой грудью, густо обросшею черными волосами. Он курил из длинного чубука с огромным янтарем; на чубуке висел потертый бархатный кисет, вышитый на манер стерляжьей чешуи.

– Смеею спросить, – продолжал тучный господин, – вы тоже проезжий?

– Так точно.

– А откуда изволите ехать?

– Из Петербурга.

– Куда?

– В К***скую губернию.

– В собственное поместье?

– Нет, к родственнику.

– А ваши родители живы?

– Нет, умерли.

– Батюшка ваш был помещик?

– Помещик.

– Тоже К***ский?

– Так точно.

– Значит, вы там и родились?

– Нет, родился я в Выборге, когда еще отец мой служил.

– А, стало быть вы, так сказать, уроженец морских волн?

– Справедливо.

Тучный господин пустил густую струю дыму.

– Не прикажете ли пуншику? – спросил Каютина другой проезжий, занимавшийся приготовлением себе нового стакана.

– Сделайте одолжение, – подхватил тучный господин. – Без церемоний, по-дорожному!

– Вы чувствительно нас всех обяжете, – прибавил нежным голосом третий проезжий. Каютин не отказался.

– Извините за нескромный вопрос, – продолжал расспрашивать тучный господин, – как ваша фамилия?

– Так-то.

– А чин?

– Такой-то.

– Где изволите служить?

– Я теперь не служу.

– Так служили... где, смею спросить?

– Там-то.

– Женаты?

– Нет.

Допросив Каютина по пунктам, тучный господин затянулся и обратился к картам.

Нервы Каютина несколько не были раздражительны: он удовлетворил терпеливо и даже с любезной готовностью любопытству тучного господина и стал в свою очередь допрашивать его.

– А вы из каких мест?

– Ярославский.

– Помещик?

– Помещик.

– Смею спросить фамилию?

– Турманалеев, Александр Аполлоныч.

– А чин?

– Поручик, вышел в отставку в 182* году.

– Большое имение у вас в Ярославской губернии?

– Да будет душ тысячи три... да еще в Костромской и в Симбирской.

– А всего?

– Да до пяти тысяч душ наберется.

– Женаты-с?

– Женат.

– Есть дети?

– Есть.

Короче: Каютин продолжал расспрашивать тучного господина, пока находил в своей голове вопросы. И тучный господин с той же обязательной любезностью удовлетворял его любопытству. Каютин хотел уже перейти с расспросами к другим двум проезжающим, но господин Турманалеев предупредил его.

– А вот они, – прибавил он, окончив собственную биографию и указывая на молчаливых своих товарищей, – мышкинские обыватели: Андрей Степаныч Андрюшкевич и Владимир Владимирович Виссандрович, – едут по собственной надобности... – и пересказал, куда они едут, зачем, где служили, по скольку у них душ и прочее, из чего Каютин заключил, что мышкинские обыватели, подобно ему, были уже в свою очередь допрошены.

Каютин знал, что у нас без того не встретятся два незнакомца, чтобы не расспросить друг друга: как зовут, какой чин и прочее, и ему приятно было встретить новое подтверждение своей мысли.

Расспрашивая, он попивал пунш и следил за игрой. Мышкинские обыватели были молчаливы и мрачны: игра поглощала все их внимание. Напротив, господин Турманалеев, болтая и покуривая, не обращал ни малейшего внимания на игру; ясно было, что ему все равно: проиграть или выиграть, лишь бы убить несколько часов скучного ожидания; но ему везло. Он

беспрестанно выигрывал, погружая свои выигрыши, довольно тощие, в огромный бумажник, лежавший перед ним на столе.

„Сколько денег, сколько денег! – подумал Каютин, не без жадности рассматривая раскрытый бумажник тучного господина, где целыми кипами лежали сотенные и двухсотенные бумажки, ломбардные билеты и серии. – Тут по крайней мере тысяч пятьдесят будет... пятьдесят тысяч! И ведь вот не повези ему – он спустит их в десять минут и через час забудет о своем проигрыше... А ты хлопочи, трудись, ночи не спи, страдай, рискуй своим счастьем, чтоб достать пятьдесят тысяч... да еще бог знает, достанешь ли! бог знает, чем все кончится! может быть, после долгих трудов и страданий я должен буду воротиться ни с чем; может быть, Полинька...“

Мрачные мысли пришли ему на ум. Сердце его сжалось. Он залпом допил свой стакан.

Никогда он так не боялся за свое счастье, никогда не казалось оно ему так неверным, никогда так сильно не хотелось ему видеть свою Полиньку, веселую, счастливую, неизменно ему верную, как теперь!

„Вот бы удивилась, вот бы обрадовалась Полинька, – подумал он, жадно следя за изменчивым ходом игры, – если б я вдруг выиграл пятьдесят тысяч и теперь же воротился к ней... хоть не пятьдесят, а так, тысяч двадцать... она и тому была бы рада... вот бы чудесно!“

Мысль была так обольстительна и заманчива, что Каютину ничто, кроме нее, не шло в голову. И под влиянием ее он спросил:

– Можно, господа, присоединиться к вам?

– Сделайте одолжение, – отвечали в один голос играющие.

Каютин стал играть, и едва ли сам он помнит и знает, каким образом случилось, что в полчаса он проиграл все свои триста рублей!

Господин Турманалеев с своей обыкновенной беспечностью уложил их в свой огромный бумажник, и бумажник даже нисколько не сделался толще: они утонули в нем, как капля в море.

Господа проезжие продолжали играть; они спорили, остряли и пили; опорожненный самовар сменился новым; явился еще проезжий, снова начались и кончились взаимные допросы.

Наконец смотритель доложил, что лошади готовы; проезжие оделись, закурили свои трубки и уехали. Каютин ничего не замечал, ничего не слышал. Он сидел повеся голову; его лицо то вспыхивало, то покрывалось смертельной бледностью; он иногда с отчаянием хватал себя за голову, даже не раз взглядывал с каким-то бешеным упоением на ружье, стоявшее в углу; дрожь пробегала по его телу...

В комнате становилось уже темно. Дверь скрипнула: вошел смотритель.

– Вот и вам лошадки готовы! – сказал он с свободой человека, пришедшего сообщить приятную весть.

Каютин не отвечал, даже не пошевелился. Думая, что он спит, смотритель подошел к нему и над самым его ухом гаркнул:

– Лошадки вам готовы!

Каютин вздрогнул, вскочил с своего места и дико осмотрелся кругом.

Смотритель юркнул к двери.

– Лошади готовы? – сказал Каютин, начав приходить в себя и стараясь сохранить обыкновенное полушутливое выражение в голосе, который на ту пору плохо повиновался ему. – Ну, так что же! лошади готовы, так теперь я не готов.

И он сел на прежнее место и снова погрузился в свои думы.

– Что ж прикажете делать?

– Что делать? – отвечал Каютин. – Что я делал до сей поры? ждал. Ну, так и вы подождите.

– Так лошадей прикажете отпрячь?

– А по мне, хоть и не отпрягайте!

Пожав плечами, смотритель ушел к воротам, где толпилось несколько ямщиков, которые толковали, хохотали и боролись. Он сел на лавочку по другую сторону ворот и стал курить медленно и глубокомысленно, держа чубук наискось с одной стороны рта и по временам сплевывая на сторону, что значило курить по-немецки. Скоро к нему подсел старичишка гнусного вида, некогда служивший писарем в земском суде, но выгнанный за лихоимство. Теперь он вел бродячую жизнь, подбивал мужиков к тяжбам и сочинял им прошения (между мужиками также есть охотники тягаться; они зовутся в наших деревнях „мироедами“). Писарь имел все неблагопристойные качества старинного подьячего: неприличную наружность, разодранные локти и небритую бороду. Красный нос его был странно устроен: казалось, что его вечно тянуло кверху, отчего физиономия подьячего имела такое выражение, как будто он только что чего-нибудь дурного понюхал. Смотритель казался перед ним аристократом.

– Капитону Александрычу наше наиглубочайшее! – с низким поклоном возгласил писарь, обнажая свою лысую голову, на которой местами торчали клочки рыжих волос. – Миллион триста тысяч поклонов.

– И вам также...

– Как живете-можете?

– Ничего. А вы?

– Вашими молитвами. Ни шатко, ни валко, ни на сторону. – Тут писарь остановился, с шипеньем потянул в себя воздух и прибавил: – одна беда одолевает.

– Ну, вам еще грех жаловаться на старость. Вот иное дело я...

– Не говорите, Капитон Александрыч! я уж давненько грешным моим телом землю обременяю... Вас не пришибешь, так не переживешь! И сие достойно примечания, что жизнь ваша в миллион триста раз спокойнее нашей почестья может.

– Что вы? что вы? – отвечал смотритель. – Да от одних проезжающих... А притом строгости какие пошли.

– А что, ваш крутенок?

– Да наезжает иногда: жалобную книгу посмотрит, распечёт и уедет...

Писарь опять прошипел, как старинные часы, которые собираются бить, и сказал:

– Вот то-то! все нынче не по-людски пошло! Вот и наш был преизрядно строг, зато молодец! с ним не попадешь в беду... Помню, ревизор к нам прибыл... У нашего нельзя сказать, чтоб дела неукоснительно чисты были. Толку в миллион триста тысяч лет не доберешься... да молодец! прямо речевого грозного судию достолюбезным и доброгласным восклицанием встретил. „Ваше превосходительство! – говорит, – прикажите меня судить: я злодей, я государственный преступник...“ – „Что такое?“ – вопрошает ревизор в превеликом удивлении. „Я, – отвечает наш, – обокрал жену, детей, растащил весь свой дом, чтобы вверенную мне часть в надлежащее устройство и благоденствие привести...“ Каков?.. Ему не на таком месте и не в таком ранге, по талантам, следует находиться“. Но в коловратный наш век таланты не оцениются...

Писарь вздохнул.

– Вот другое событие, – продолжал он, – таковую прискорбную мысль подтверждающее... Провожали мы раз знатное, превосходительное лицо... Мороз страшный... миллион триста тысяч градусов... так до костей и пробирает... Мы скачем. Тройка бедовая! Генерал за нами шестериком... Вдруг постигает нас великое бедствие: уж господь знает, по какому злополучному обстоятельству, только смотрит наш на коленку и зрит превеликим ужасом: коленка у него разорвана! Каюсь, в первую минуту купно упали мы духом, ничего рассудить, ниже предпринять не могли... дело казусное! приедем на станцию: нужно встретить генерала по форме, как великому сану его приличествует... На превеликое счастье, с нашим была другая пара. Как звери лютые, кинулись и распоролы мы чемодан... достали другую пару... и наш на всем скаку

передел другие брюки!.. Каков?.. Где, – продолжал подьячий, с шипеньем втянув в себя весь воздух, какой около него находился, – где нынче столь преславное радение к службе приискаться может!.. Правда, и труда ему толикого стоило, что даже генерал заметил, как он ворочался, и по прибытии на почтовый двор спросил: „Что, не больны ли вы? с вами, кажется, судороги приключились?“ – „Ничего, ваше превосходительство, – отвечал наш, – холодененько, так я ради моциону...“ И после они еще весьма продолжительное рассуждение имели, на разных диалектах. Наш ведь ученый: миллион триста тысяч языков знает! Генерал по-французски, а он ему по-немецки; генерал по-латыне, а он ему по-гречески. Знай, мол, наших! постоим за себя... А как наш ушел распорядиться лошадьми, генерал низошел высокою милостию своею до меня, ласково со мной заговорил... и, видя в нем такое изобилие качеств, добродетельным душам свойственных, я толикую восчувствовал храбрость, что рассказал ему всю сущую правду, какое с нашим великое несчастье в дороге воспоследовало и как оно избегнули... В превеликом удовольствии генерал изволил даже расхотаться, а потом строго присовокупил: „Напрасно он передевался... мог простудиться... я таких жертв не требую...“ Известно: столичный политикан!.. Порадев так начальнику и благодетелю своему, возымел я дерзостное, помышление порадеть самому себе... Пав ниц, возгласил я с великим рыданием: „Наг и неимущ есмь... жена, детей... миллион триста тысяч... Простите, что осмеливаюсь прожужжать, как муха, в паутине опутанная, с нижеследующей просьбой: не соблаговолите ли, ваше превосходительство, в казенное заведение определить...“

– Что же он?

– Он, – отвечал писарь, потянув воздух и прошипев, – сам поднял меня... „Как не стыдно вам, – говорит, – встаньте! А помочь я вам не могу. Казённые“ заведения не по моей части...» Но я снова пал ниц и паки слезно просил. Он все отговаривался, а я ноги его лобызал, и тогда он изволил сказать: «Ну, встаньте, напишите цедулку о своей просьбе и секретарю моему вручите... я посмотрю...» Возрадовался я поблагодарил: «У меня был и не стало», – сказал я ему, – «а ныне послал творец небесный отца и благодетеля, так смею сказать вам, ваше превосходительство, я чту и буду чтить по гроб жизни моей, передам моему поколению до ската в вечность нашего существования приносить мольбу о ниспослании вам благополучия...» Потом настроил я с превеликим тщанием требуемую цедулку, в какой помянул миллион триста тысяч раз ваше превосходительство и другие хвальные наименования... Но втуне трудилась голова и рука моя!.. – Подьячий грустно повесил голову.

– Проводили мы, – продолжал он после долгого молчания, – до границы уезда и сдали именитую особу другому. Откушав, отправилась она далее, а мы остались, понеже силы наши зело изнурены были... Выпив презрядно за здравие будущего милостивца моего, сел я с великим веселием на душе у почтового двора на скамейку, вот как примерно сижу теперь, – и вдруг вижу, гонит ко мне ветер из-за угла бумажку... Смотрю, кажись бумажка знакомая. Как поднес ее ветер ближе ко мне, я так и ахнул!.. взял, посмотрел: точно, моя цедулка, – дрогнуло мое ретивое! На то ли я тщился украсить ее витиеватостию почерка и хитростию стилия, чтоб она... бросили...

Писарь повесил голову и задумался. Потом он достал свою берестовую тавлинку и понюхал, отчего слезы показались у него на глазах, крикнул и предложил табачку смотрителю.

Смотритель понюхал и чихнул.

– Миллион триста тысяч на мелкие расходы! – сказал с поклоном писарь.

– Благодарствуйте.

В ту минуту на улице показался Каютин. Ямщик, привезший его, подошел к нему и сказал:

– А что ж, барин, обещали на водочку?

Каютин молча дал ему двугривенный и подошел к верстовому столбу. На нем четко было написано: до Петербурга 584, до Казани 756. С минуты Каютин задумчиво смотрел на черные

и крупные цифры, потом быстро повернулся, и глазам его представилась картина деревенского вечера, какой он давно не видывал.

Станционный дом стоял на горе. Прямо против него, в глубокой долине, виднелось небольшое озеро, местами заросшее осокой, местами чистое, с трех сторон окруженное кустарником. За озером тянулся лес, возвышались холмы, между которыми лежали сизые полосы тумана, а низменная далекая долина казалась морем. Озеро, лес и зелень – все было чудесно освещено заходящим солнцем. К озеру стадами слетались дикие утки, и шум их крыльев разливался серебряными, дрожащими звуками в чистом и тихом воздухе; ласточки щебетали и задевали воду крылом. В кустах кричали коростели; черной точкой поднимались высоко и мгновенно падали жаворонки с веселым пением... Картина становилась все полнее и оживленнее; мимо прошла толпа баб и мужиков, возвращавшихся с работы с песней. С шумным и бойким говором появилось огромное стадо скворцов; они то садились, прыгая по плетню и спускаясь на траву, то перелетали косыми тучами, в которых играло солнце. Прошло и настоящее стадо с мычаньем и ржаньем. Пастух лихо хлопал длинным бичом, которого конец визжал и змеился. Красивые жеребята весело бежали за своими матками, ложились на траву и тихонько ржали; им вторили громким ржаньем две-три красивые лошади, летевшие среди стада во весь опор, с поднятыми головами; неуклюжие дворняжки пускались за ними вдогонку, забегали вперед и задорно лаяли. Отставшая корова долго бродила одна, останавливалась с изумленными глазами и, не переводя духу, мычала-мычала. Вдруг все на минуту стихло, и Каютин услышал песню, долетавшую с озера, куда ямщик погнал своих лошадей, тощих, шероховатых, которые плелись гуськом... Заунывный, выразительный голос пел:

Тяжело на свете
Без подружки жить,
А была, да сгубла –
Нельзя не тужить.
Ласкова, проворна,
Сердцем горяча...
Вспомню про милую,
Прошибет слеза!
Куплю я косушку,
То нечего пить;
Куплю я полштофа,
То не с кем делить!

Не дослушав песни, Каютин скорыми шагами ушел в комнату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.